

А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р
С О В Е Т С К И Й К О М И Т Е Т С Л А В И С Т О В

А. Н. РОБИНСОН

ИСТОРИОГРАФИЯ
СЛАВЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ
И ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИЙ

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД СЛАВИСТОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА
СОВЕТСКИЙ КОМИТЕТ СЛАВИСТОВ.

А. Н. РОБИНСОН

ИСТОРИОГРАФИЯ
СЛАВЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ
И ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИЙ

ВОПРОСЫ
ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ТИПОЛОГИИ

Доклады советской делегации

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД СЛАВИСТОВ
(София, сентябрь 1963)

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА 1963

ВВЕДЕНИЕ

Болгарская научная общественность торжественно отметила двухсотлетие «Истории славеноболгарской» (1762), написанной знаменитым родоначальником болгарского Возрождения Паисием Хилендарским¹. Около столетия крупнейшие болгарские филологи и историки посвящают свои труды исследованию жизни и творчества Паисия. В связи с этим нельзя не вспомнить с благодарностью имена М. Дринова, И. Шипманова, Й. Иванова, Б. Цонева, А. Теодорова-Балана, В. Златарского, Б. Пенева и других. Современные болгарские исследователи М. Арnaudов, Б. Ст. Ангелов, В. Велчев, Э. Георгиев, П. Диневков, Д. Косев, Т. Павлов, В. Топенчаров и другие в своих новейших работах подвели итоги изучения творчества Паисия и достигли новых результатов в этой области. Известный вклад в изучение Паисия внесли русские ученые: В. Григорович, который первым ввел имя Паисия в научную литературу², В. Ламанский, П. Лавров, М. Попруженко, А. Пыпин и В. Спасович, Н. Державин. Паисием занимались с различным успехом известные итальянские слависты

¹ См. Паисий Хилендарски и неговата епоха (1762—1962). Сборник от изследованието по случай 200-годишнината от История славяноболгарска, София, 1962 (далее обозначают: Сборник); Емил Георгиев. Паисий Хилендарски и идеологическите и литературни течения на неговата епоха. 200-годишнината на «История славяноболгарска». — Литературна мисъл, кн. 5, София, 1962, с. 105—118; В. Велчев. Идеологията на Паисий Хилендарски (За 200-годишнината от «История славяноболгарска»). — Език и литература, 1962, № 6, с. 17—40; Паисий Хилендарски. Славяно-болгарска история. Под редакцията на Петър Диневков. София, 1963. Пользуясь случаем принести сердечную благодарность Б. Ст. Ангелову, П. Диневкову, В. Велчеву, Д. С. Лихачеву и Н. И. Толстому за ценные научные советы.

² Виктор Григорович. Статьи, касающиеся древнего славянского языка. Казань, 1852, с. 52.

А. Крония и Р. Пиккио, а также американский славист Д. Кларк³.

В итоге работ, принадлежащих преимущественно болгарским ученым, был изучен огромный материал, относящийся к рукописному наследию Паисия и его переписчиков, к определению источников (иностранных и отечественных) и болгарских предшественников Паисия, к характеристикам его личности и эпохи, к анализу идей, содержания, стиля и языка его «Истории», ее влияния на последующую болгарскую литературу и общественную мысль. При определении места и роли «Истории» Паисия в качестве начального момента в развитии новой болгарской литературы, как справедливо пишет П. Динев, перед исследователями обычно стоят три основных вопроса: «Връзката на тая творба с традициите на пашата литература от преходните десетилетия и векове; новото, което представя тя като литературно явление; ролята която играе в по-нататъшното развитие на българската литература. Също така за нас не може да бъде безинтересен и въпросът за връзката на Паисиевата история със съвременната българска литература»⁴. Это направление исследований принесло уже значительные достижения, но оно замыкает Паисия в национальные пределы истории болгарской литературы.

Другое направление изучения Паисия ведет к определению места его идей в развитии общеевропейской общественной мысли XVIII в. Еще И. Шишманов обратил внимание на возможность сравнения национально-просветительных и демократических взглядов Паисия с некоторыми идеями Ж.-Ж. Руссо⁵ («Эмиль или о воспитании»), А. Бънков⁶ соотносил эти взгляды с идеями просветительной философии вообще, Б. Пенев пытался объяснить «исторический романтизм» Паисия, Ю. Бран-

³ См. превосходно составленный обзор научной литературы о Паисии: Веселин Трайков и Иван Дуйчев. Паисий Хилендарски. Литературни извори за епохата, живота и дейността му, Сборник, с. 605—640.

⁴ Петър Динев. Възрожденски писатели. София, 1962, с. 31.

⁵ И. Д. Ш. [ишманов]. 1762. Паисий и Руссо.— Денница, I, 1890, кн. 7—8, с. 353—354.

⁶ Ангел Бънков. Философско-исторически идеи на българска почва. От Паисия до Хр. Ботев.— Философски преглед, година XV, кн. 1, София, 1943, с. 38—48.

ковича, П. Витезовича и Х. Жефаровича влиянием деятелей национального движения в Германии ⁷, а М. Арнаудов упоминал при таком сопоставлении имена немецких поэтов, профессоров и общественных деятелей: Ф.-Т. Клоштока (поэма «Мессиада»), Э.-М. Арндта, И.-Я. Мозера и даже Ф.-Л. Яна ⁸. Эти разноречивые и неравноценные сопоставления, выражавшиеся обычно в самой общей форме, сыграли однако определенную роль, так как они подготовили возможность более широких наблюдений, которые сделали П. Динекон, сопоставивший общее движение идей в болгарской литературе второй половины XVIII в. (Паисий, Софроний Врачанский и др.) с некоторыми идеями Просвещения ⁹, и Э. Георгиев, удачно наметивший место идеологии Паисия между Ренессансом и Просвещением ¹⁰. Этот путь исследований плодотворен, хотя он и приводит пока что к невольной модернизации Паисия как человека уже «нового мировоззрения» ¹¹.

Движение научной мысли в означенных двух направлениях привело к определению общего содержания и значения основных идей Паисия как в истории болгарской литературы, так и в развитии европейской общественной мысли. Однако почему же «История» Паисия все еще выглядит так одиноко? Что представляют собой общий тип и конкретная структура этого произведения? Откуда и как могло появиться именно такое историческое сочинение в болгарской литературе середины XVIII в.? Какое место занимает оно в истории славянских литератур? На эти вопросы невозможно ответить ни в плане исследования болгарских предшественников Паисия (дамаскины, сочинения Иосифа Брадатого, Мефо-

⁷ Боян Пенев. История на новата българска литература под редакцията на Борис Йозов, т. 2 [София, 1932]; е го же (отд. изд.) Паисий Хилендарски. Хемус [София, 1946], с. 55 (далее: Б. Пенев).

⁸ Проф. Михаил Арнаудов. Паисий Хилендарски. Личност. Дело. Епоха, София, 1962, с. 110—112.

⁹ P. Dinekov. Le mouvement des idées de la littérature bulgare pendant la seconde moitié du XVIII-e siècle.— Commission internationale des études slaves, Comité international des sciences historiques, Uppsala, 20—21 août, 1960. Edizioni di «Ricerche slavistiche».

¹⁰ Емил Георгиев. Паисий Хилендарски — между Ренессанса и Просвещението, Сборник, с. 253—284.

¹¹ Там же, с. 270, 284.

для Драгинова, болгарские царские грамоты, «Стематография» сербско-болгарского писателя Х. Жефаровича и др.), ни в плане исследования некоторой близости отдельных его идей к отдельным идеям западноевропейской философии и литературы. Безрезультатность подобных попыток проявилась бы прежде всего в том, что сама «История» Паисия в целом, как литературно-публицистическое произведение на историческую тему, не похожа на те сочинения, с которыми ее возможно сопоставить и с которыми ее сопоставляют в обоих планах (болгарском и западноевропейском) ее изучения. На что же похожа она?

Паисий сам указал тот путь, по которому необходимо двинуться исследователям для ответа на поставленные нами вопросы. Паисий писал отнюдь не религиозно-патристическую поэму (в немецком духе) и не философско-педагогический роман (во французском духе), он писал историю болгарского народа, который, по его справедливому убеждению, принадлежал к общей семье славянских народов («История славеноболгарская»). Эта задача и определила основную идеологическую направленность, общие признаки жанра и стиля его «Истории». Прежде чем написать свое сочинение, ему пришлось «много крат прочитати различни истории рукописни и печатни, что пздавали руси и московцы, особно ради славенского народа...» (50)¹². Взоры Паисия были обращены не на Запад, а на Восток. Они приводят нас непосредственно к восточнославянской, т. е. украинской («руси») и русской («московцы») историографии, а через нее и ко всей славянской историографии XVI—XVIII вв. Изучение идеологических и литературных проблем творчества Паисия в его связях со всей этой историографией, которую можно назвать историографией славянского Возрождения, должно было бы, по нашему мнению, образовать третье направление в посвященных ему исследованиях.

¹² Паисий Х и л е н д а р с к и. История славеноболгарская. Никифоров препис от 1772 г. Подготови за печат Боню Ст. Ангелов. София, 1961; текст цитируется по этому изданию, страницы указаны в скобках, орфография упрощается в соответствии с правилами, принятыми в издании: Паисий Х и л е н д а р с к и. Славянобългарска история. Под редакцията на Петър Дипеков. София, 1960; титла нами не раскрываются. При цитировании других источников в первом случае дается библиографическая ссылка, в последующих случаях страницы указываются в скобках без ссылок.

Историография славянского Возрождения представляет собой обширное и идейно значительное историко-публицистическое и литературное течение, почти не затронутое современной славистикой. Существуют ценные опыты специального изучения, главным образом отдельных памятников этого течения или групп таких памятников, хронологически локализованных и ограниченных пределами одной или двух славянских литератур¹³, а также осуществленные в таких же пределах единичные исследования¹⁴ или научно-популярные обзоры и учебные пособия¹⁵. Историографические исследования очень сложны потому, что, как справедливо пишет С. Л. Пештич, «...историография является в значительной степени обобщением истории гуманитарных наук. Историю исторической мысли нельзя изучать без истории философии, истории политических учений, истории вспомогательных исторических дисциплин и многого другого»¹⁶. Общая проблематика изучений в области славянской историографии не разработана, многие памятники почти не привлекали внимания современных исследователей, некоторые ценные памятники до сих пор не

¹³ См.; например: Никола Радочић. Српски историчар Јован Рајић. Београд, 1952; Josef Masáček (Brno). První český obraz Rusi «Kronika moskevská» (z r. 1590) a jeho prameny.— Slavia, Praha, 1962, R. XXXI, S. 3, с. 378—407; С. Л. Пештич. «Синопсис» как историческое произведение.— Труды Отдела древнерусской литературы. Институт русской литературы (Пушкинский дом), т. XV. М.— Л., 1958, с. 284—298.

¹⁴ См. содержательную книгу: С. Л. Пештич. Русская историография XVIII века, ч. 1, Изд-во ЛГУ, 1961 (далее: С. Л. Пештич); В. П. Лыцов. М. В. Ломоносов родоначальник русского просветительства (1711—1961). Воронеж, 1961.

¹⁵ Например, в кн.: Очерки по истории исторической науки в СССР, т. 1. Под редакцией М. Н. Тихомирова (главный редактор), М. А. Алпатов, А. Л. Сидорова. М., 1955, с. 89—127, 169—204 (далее: Очерки); Историография истории СССР. Под редакцией В. Е. Иллерецкого и И. А. Кудрявцева. М., 1961, с. 59—75, 78—89; М. І. Марченко. Українська історіографія. Видавництво Київського університету, 1959, с. 33—38, 43—93, 102—127 (далее: М. І. Марченко). Незаменимым пособием остается: В. С. Иконников. Опыт русской историографии, т. 2, ч. 1 и 2. Киев, 1908.

¹⁶ С. Л. Пештич, с. 5

изданы. Такое положение, сложившееся в данной области славистики, требует объяснения.

Слависты-филологи почти не интересуются славянской историографией, относя ее преимущественно к компетенции историков. Слависты-историки занимаются ею очень мало, так как она почти не дает достоверных сведений о славянской древности (по сравнению со средневековыми летописями), а о позднейшем периоде истории (XVI—XVIII вв.) и помимо нее имеется немало источников, нередко более надежных в плане фактическом. К тому же в традиции исторической науки славянская историография была опорочена буржуазными историками XIX — начала XX в.

Историки-позитивисты относились к своим ближайшим прешествникам — историографам — с величайшим презрением за их «баснословие», «выдумки», «псевдество»¹⁷. Крупный славист И. Первольф отмечал «в русской историографии разные вздорные мнения о древней истории славянской...», ему казалось, что украинские историографы XVII в. только воспринимали «псевдо-ученую болтовню Бельского, Кромера, Стрыйковского...», причем «изложение древней славянской и русской истории отдалялось все больше от первоначальной русской летописи..., испещрялось разными более или менее глупыми вымыслами..., и просто искажало историю...», что оно не имело «никакой научной цены»¹⁸. А. С. Лапко-Данилевский пояснял, что «...направление подобного рода, тесно связанное с риторикой, вносило ложные приемы исторического повествования, скорее мешавшие, чем способствовавшие развитию научных методов исторического построения»¹⁹. И. Е. Забелин третирует «наивные сказки о Мосохе»²⁰. Эти же «причуд-

¹⁷ П. А. Лавровский. Исследование о летописи Якимовской. — Ученые записки второго отделения имп. Академии наук, кн. 2, в. 1. СПб., 1856, с. 108—111.

¹⁸ И. Первольф. Славяне, их взаимные отношения и связи, т. 2. Варшава, 1888, стр. 108, 436, 442, 444, 446 (далее: И. Первольф).

¹⁹ А. С. Лапко-Данилевский. Очерк развития русской историографии. — Русский исторический журнал, [Пг.], 1920, № 6, с. 17 (далее: А. С. Лапко-Данилевский).

²⁰ И. Забелин. История города Москвы, ч. 1. Изд. 2-е, М., 1905, с. 27 (далее: И. Забелин).

ливые образы» А. И. Кирпичников называл «образцом фантастики, то живой и остроумной, то педантически нелепой...» и писал: «...я оставляю в стороне эти измышления книжников...»²¹

Не многим далее этих изучений продвинулась и новейшая историческая наука. Например, Б. Д. Греков писал: «В Синописе вопросы этногенеза... решались весьма примитивно: русский народ происходил от Моносоха... Ломоносов даже отказался эту „теорию“ критиковать»²².

Если подойти ко всем этим оценкам в исторической перспективе, то нельзя не заметить, что историки нового времени проявляли почти такое же недовольство историографами переходного периода (XVI—XVIII вв.), как те, в свою очередь, — средневековыми летописцами. Конечно, у историков всех эпох никогда не утратится приятная возможность констатировать «незрелость»²³ своих предшественников, отстоящих от них на столетия, но исторический подход к их изучению побуждает признать, что для своей эпохи и своей социальной среды они были не менее «зрелыми», чем новейшие историки для их современности.

«История» Паисия первоначально тоже попала в круг подобного рода оценок, хотя уже с самого начала исследователи пытались осознать ее выдающиеся особенности. По мнению Е. Е. Голубинского, сочинение Паисия, «будучи замечательно как первый опыт в своем роде, почти не имеет никакого значения научного, потому что страдает совершенным отсутствием критики и наполнено баснословием»²⁴. И. В. Ягич считал, что труд Паисия написан «без критической разборчивости»²⁵. В недавнее

²¹ А. И. Кирпичников. К литературной истории русских летописных сказаний. — Известия Отделения русского языка и словесности имп. Академии наук, т. 2. СПб., 1897, с. 55.

²² Б. Д. Греков. Ломоносов — историк. В кн.: Избранные труды, т. VIII, М., 1960, с. 409—410, 416.

²³ С. Л. Пештич, с. 12.

²⁴ Е. Голубинский. Краткий очерк истории православных церквей болгарской, сербской и румынской или молдо-валахской. М., 1871, с. 710; ср. А. Н. Пыпин и В. Д. Спасович. История славянских литератур, т. 1. Изд. 2-е. СПб., 1879, с. 106.

²⁵ И. В. Ягич. История славянской филологии, Энциклопедия славянской филологии, в. 1. СПб., 1910, с. 439.

время превосходный исследователь сочинения Паисия Боян Пенев писал, что оно «патриотично и романтично, а не научно», лишено «от каква годе научност», так как Паисий прибегал «до фантастични измислици»²⁶.

Разумеется, эти взгляды крупных историков и литературоведов нового времени совершенно справедливы в плане исторической фактологии. Но по существу своему эти взгляды антиисторичны. Как это ни удивительно, новейшие историки как бы невольно переносят привычные для них представления о задачах и методах исторического исследования на старинных историографов и после этого без всяких затруднений осуждают их за «примитивность» и «ненаучность», нисколько не считаясь с тем, что эти новые требования и приемы противоречили не только возможностям, но и убеждениям старинных авторов. В результате возникает парадоксальное впечатление: по мере перехода от средневековья к новому времени, с ростом культуры, сопровождающим период славянского Возрождения, славянская историография, по сравнению с древним летописанием, все более погружается в пучину «невежества». Возникает и другое мнимое противоречие: одно и то же историографическое сочинение получает прямо противоположную оценку в разные исторические эпохи. Например, «История русов или Малой России», памятник украинской историографии второй половины XVIII в., причислялась в исторической науке конца XIX в. к числу «фальшивых летописей», исполненных «невежества»²⁸. Однако А. С. Пушкин убежденно писал о том, что автор этого памятника был «великий историк Малороссии», обладавший «кистью великого живописца»²⁹.

Задача заключается в том, чтобы изучить историографию славянского Возрождения как обширное научно-публицистическое и литературное течение своего вре-

²⁶ Б. Пенев, с. 56, 58; см. анализ этого взгляда Пенева в кн.: Велчо Велчевъ. Отецъ Паисий Хилендарски и Цезарь Бароний. Приносъ къмъ изследоваче изворите на пансиевата история. София, 1943, с. 4—7 (далее: В. Велчев).

²⁷ См. М. И. Марченко, с. 102—127.

²⁸ Г. Карпов. Критический обзор разработки главных русских источников, до истории Малороссии относящихся. М., 1870, с. 45, 49.

²⁹ Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 12. Изд-во АН СССР, 1949, с. 19, 24.

мени, определить тип исторического мышления историографов, исследовать их субъективные намерения и объективные возможности, вскрыть методологию и методику их работы.

Славянская историография не была аморфна и единообразна. Каждый ее памятник по-своему отражал какие-либо конкретные и не одинаковые в разное время и у разных славянских народов социальные, политические, культурные и национальные явления. Историография, например, весьма чутко реагировала на те исторические процессы, в результате которых Польша переживала «золотой век» своего Возрождения (XVI в.), затем начала клониться к упадку, пока не утратила национальной самостоятельности, развитие же чехословацкого Возрождения (вместе с ним — и чешской историографии) ранее этого было прервано австрийско-немецким порабощением. Историографы были очень внимательны к судьбам освободившейся от татарского ига России, в которой с XVII в. начал укрепляться самодержавный абсолютизм. Их волновали и сложные переплетения национально-освободительных и феодально-крепостнических тенденций на Украине в XVII—XVIII вв., и турецкое порабощение Болгарии, Сербии, а затем, со второй половины XVIII в., пробуждение в этих странах общественных сил для национально-освободительной борьбы.

Вслед за этим общим историческим движением основных этапов Возрождения славянских народов развивается и славянская историография, которая при всем различии своих конкретных проявлений приобретает в основных идеях, методах и формах характер международного течения общественной мысли и литературы. Эти основные общие признаки историографии связаны с общими признаками национально-общественной идеологии и культуры славянских народов как закономерными явлениями в период формирования славянских наций, в переходный период от феодальной к буржуазной общественно-экономической формации.

Славянская историография, как и всякое развитое и длительное течение общественно-научной мысли и публицистической литературы, имела свои первые опыты и конечные результаты, своих великих представителей и эпитофов, архаистов и новаторов. Проблемы национальной

п исторической локализации этого течения, выяснения его внутренней периодизации и социальной дифференциации, установления конкретных связей между отдельными памятниками, вопросы качественных оценок тех или иных историографов, — все это заслуживает дальнейшего изучения. Однако не менее интересной задачей является выяснение интеграционных признаков славянской историографии в целом при помощи историко-типологических и, частично, сравнительно исторических сопоставлений. В пределах настоящей работы мы попытаемся только обратить внимание славистов на проблему историографии славянского Возрождения в целом и связать ее с изучением Паисия Хилендарского.

* * *

Изучение славянской историографии невозможно без выяснения тех общих проблем и конкретных задач, которые ставили перед собою сами историографы и которые они декларировали в исключительно интересных предисловиях и послесловиях к своим сочинениям. Литературно-публицистическое своеобразие этой историографии состояло в том, что представители ее поучали своих читателей не только в ходе самого исторического рассказа, но и при помощи непосредственного предварительного разъяснения им своих убеждений.

В этой связи наибольший интерес представляют два предисловия и послесловие, которыми Паисий снабдил свою «Историю». Прежде чем рассматривать этот материал на широком фоне восточнославянской историографии, обратим внимание на некоторые с ним связанные специальные дискуссионные вопросы.

Первое предисловие Паисия («Полза от истории»), как известно, было в значительной мере основано на предисловии к русскому изданию сочинения кардинала Цезаря Барония, изданного «повелением» Петра I³⁰. Это предисловие не было для Паисия только данью своему автори-

³⁰ Деяния церковная и гражданская от рождения господа нашего Иисуса Христа, из летописаний Кесаря Барониа собранная преведеная с польскаго языка на славенский, кроме явных с церковно православною восточною противностей римских у Барониа и Скарги обретающихся. М., 1719; *Annales ecclesiastici. Autore Caesare Baronio...*, Romae ex Typographia Vaticana, t. 1—12, 1588—1607.

тетному источнику. Оно вводило читателя в круг тех общих философско-историографических представлений, которых придерживался и Паисий, а кроме того, декларировало и собственную его концепцию (на этих общих представлениях основанную) о грядущем благоприятном изменении исторических судеб болгарского народа.

Второе предисловие Паисия («Предисловие ко хотящим читати...»), связанное своим содержанием и с послесловием к его «Истории», было обращено непосредственно к болгарскому народу и имело яркий публицистический характер. Для оценки этого замечательного предисловия, как и всей «Истории» Паисия в целом, мы считаем необходимым привести мысль В. И. Ленина о демократическом характере национально-освободительных движений переходного периода: «Прогрессивно пробуждение масс от феодальной спячки, их борьба против всякого национального гнета, за суверенность народа, за суверенность нации»³¹.

Наличие двух предисловий у Паисия объясняется тем, что оба они определяют разные, но взаимнообусловленные позиции автора как историографа: идейно-философские (первое предисловие) и национально-политические (второе предисловие). Содержание обоих этих предисловий, как будет показано далее, входит в круг тех основных идеологических проблем, которые интересовали славянских историографов. Возможно, что структурное расчленение этих проблем у Паисия на два как бы самостоятельных предисловия возникло именно потому, что в его творчестве они достигли наибольшей остроты, объяснявшейся тем социально-историческим обстоятельством, что среди всех славянских народов данного периода болгарский народ переживал состояние наибольшего порабощения и, казалось даже, находился на грани своего исчезновения. Пробуждение национального самосознания болгарского народа требовало от Паисия и глубоких историко-философских рассуждений и страстных национально-патриотических призывов.

Для более правильного суждения о том, каким образом Паисий вводил свою «Историю» в русло славянской историографии, необходимо продолжить наблюдения над

³¹ В. И. Ленин. Критические заметки по национальному вопросу. — Полн. собр. соч., т. 24, М., 1961, с. 132.

характером использования им текста предисловия к Баронию. Степень зависимости Паисия от этого источника была обстоятельно изучена В. Велчевым³², затем эти наблюдения были пополнены Р. Пиккио³³.

«Предисловие к православному читателю. О сей летописной книге сказание», открывающее русское издание Барония, как указал Р. Пиккио, было написано не самим Баронием (таково было мнение А. Крония)³⁴ и не редактором его русского издания (мнение В. Велчева)³⁵, а переводчиком Барония с латинского на польский язык Петром Скаргою, который издал свой сокращенный и одобренный самим Баронием перевод в 1603 г. в Кракове. Это предисловие Скарги, по мнению Р. Пиккио, было переведено на русский язык, а затем из русского издания заимствовано Паисием.

Ни с одним из этих трех мнений об авторстве предисловия к русскому изданию Барония нельзя согласиться полностью. В действительности это предисловие принадлежало не какому-либо одному автору, а двум авторам: первая его часть, содержащая рассуждения о пользе занятий историей (л. 1—4) была написана Скаргою и несколько обработана при ее переводе русским редактором (иезуит Скарга не адресовал своего предисловия «к православному читателю» и т. п.), а вторая часть предисловия (л. 4—6 об.) была написана русским редактором и содержала резкую критику издаваемого сочинения Барония—Скарги³⁶. Без учета этого обстоятельства нельзя правильно оценить отношение Паисия к своему источнику.

³² В. Велчев, с. 22—35.

³³ Riccardo Picchio. La «Istoriija Slavėnolgarskaja» sullo sfondo linguistico-culturale della slavia ortodossa.— Comunicazioni al IV congresso internazionale degli slavisti (Mosca, settembre 1958) Roma, 1958 (далее: Р. Пиккио).

³⁴ См. А. Срония. Il «Regno degli Slavi» di Mauro Orbini (1601) e la «Istoriija slavenolgarskaja» del monaco Paisi (1762).— Bulgaria, rivista di cultura, I, Roma, 1939, N 1—2, p. 45—58; N 3, 138—152.

³⁵ В. Велчев, с. 18.

³⁶ Л. В. Черепнин указывает, что автором этого предисловия был переводчик и церковный публицист, рязанский и муромский епископ Гавриил Бужинский; присоединяемся к этому мнению с тем его ограничением, что Бужинский был автором не всего предисловия, а второй его части, в первой же части предисловия он играл роль переводчика и редактора сочинения Скарги; см. Л. В. Черепнин. Русская историография до XIX века. Курс лекций. Изд-во МГУ, 1957, с. 159—161.

Как показал В. Велчев, Паисий существенно сократил указанное предисловие, выбрав из него только то, что отвечало его православно-христианскому мировоззрению и национальным задачам. Так, он выпустил ссылки предисловия на «Гиппократ, врача и философа премудраго» (1 об.), на монархов древности Артаксеркса и Дария (3), опустил и правочтения о ничтожестве человека, который, наблюдая падения «царств и царей», не должен предаваться унынию «в менших своих злоключениях», но должен говорить — «дубы падают, а мне, малейшему земли, подобному траве... увянути и изсохнути тяжко ли и обидно ли имать быти?» (2) и т. п. Добавим к этому, что в целях более стройного изложения своей концепции, Паисий сделал перестановку двух фрагментов. Отрывок «Дивни суть судьбы бжии... в правлении мира сего...» (44) в предисловии к изданию Барония помещен перед изложением завещания византийского императора Василия. Паисий меняет эти фрагменты местами для того, чтобы после приведения завещания Василия закончить свое предисловие особенно важным для него рассуждением о том, что «судьбы божии», хотя и неисповедимы, но переменчивы, что и вселяет надежду на лучшее будущее болгарского народа. Таким способом создается идейная и композиционная завершенность первого предисловия Паисия.

Допуская указанную перестановку, Паисий обнаружил свое стремление не механически оборвать свои заимствования из дальнейшей части предисловия к изданию Барония, а сознательно воздержаться от них. В чем же причина этого? В. Велчев правильно обратил внимание на то, что в тексте Паисия, по сравнению с предисловием к Баронию, существенно ослаблена церковная (мы сказали бы: церковно-полемическая) тенденция³⁷. Эти наблюдения необходимо продолжить, так как В. Велчев и Р. Пиккио оставили за пределами своего анализа вторую часть предисловия к Баронию, написанную русским редактором, от заимствования которой Паисий отказался. Русский редактор дает подробную характеристику издаваемой книги Барония, причем «православный читатель» настойчиво предупреждается о том, что «творец сих летописаний не токмо римлянин бе, но и кардинал римскаго костела, именован Бароний Кесарь, а сократитель его

³⁷ См. В. Велчев, с 32—33.

и на польский язык переводник — пезуит Петр Скарга: оба во всем между собою подобни, оба римляне, оба папешницы и пзлиха ревнителнейшии защитницы папы римскаго, последователне велиции непавистницы нашае православныя церкви греческия восточныя» (5). Главный порок работы Барония и Скарги русский редактор видел в том, что они от своей «ревности к папе» наполнили книгу «подметпыми повестями», чтобы возвести «многия лжи, укоризны и досады на греков православных, на царей греческих и на святейших патриархов» (5 об.). Приводя различные исторические примеры противогреческих тенденций Барония, редактор обвиняет его в том, что подобные ошибки автор допустил, «забыв звание историческое» (5 об.). Редактор борется с этими тенденциями католицизма и активно защищает греческую (а следовательно, — и русскую) церковь и византийскую государственность. Пользуясь русским изданием Барония, уже достаточно очищенным от воинствующих тенденций католицизма, Паисий в то же время не мог принять и православно-грекофильских идей его русского редактора в силу своего протеста против духовного гнета греческой церкви среди болгар и желания противопоставить древнюю историю Болгарского царства его могучему противнику — Византийской империи.

В связи с этими обстоятельствами в своей обработке предисловия к Баронию православный монах Паисий допускает характерное сокращение: вместо слов «любомудрый и православный читателю» (1) он оставляет в своем тексте только «любомудри читателю» (41). В этом изменении В. Велчев видит стремление Паисия «да отклони своя предговор от религиозния дух на извора, от който заема идеи, и да му придаде нов собствен народностен дух и смисъл»³⁸. Р. Пиккио, напротив, объясняет этот пропуск не идейными соображениями Паисия, а, скорее всего, его забывчивостью. Он вообще считает, что Паисий просто переписывает фрагменты из предисловия к Баронию, причем обнаруживает себя как переписчик не очень тщательный и даже невнимательный³⁹. Однако такая оценка работы Паисия не может быть принята, потому что из многих сопоставлений, сделанных В. Вел-

³⁸ В. Велчев, с. 35.

³⁹ Р. Пиккио, с. 9—10.

чевым и частично пополненных приведенными выше соображениями, достаточно виден сознательный подход Паисия к данному источнику. В свое время Б. Пенев убедительно показал также творческое отношение Паисия к другому его источнику — русскому изданию историографии Мавро Орбини⁴⁰. Дело не в религиозной индифферентности и не в забывчивости Паисия, а в национально-политической направленности его «Истории». Пропуск Паисием определения «православный» при обращении к читателю является примером его критического отношения к источнику, в котором как раз «православный читатель» убеждался русским редактором в высочайших достоинствах греческой православной церкви⁴¹.

Следует заметить, что в своем изложении истории Болгарии Паисий неоднократно ссылается на мнения Барония. В предисловии же к своей «Истории», заимствуя значительные фрагменты из предисловия к Баронию, он совсем не ссылается на свой источник, полагая, очевидно, — и не без оснований, — что излагаемые в этом источнике взгляды на «пользу» от истории и на провиденциальные судьбы исторического развития являются общим достоянием историографии.

К рассмотрению этих общих воззрений историографов мы и переходим. В качестве слависта-филолога, а не историка, мы попытаемся предложить несколько непривычный для нашей исторической науки способ рассмотрения этого материала. Нас будет интересовать не то, что так или иначе разделяет старинных историографов между собою, а то, что сближает их. Сближает же их прежде всего то, что они думали об истории, о своем народе, о самих себе. Поэтому собственные программные высказывания славянских историографов будут на первом плане нашего исследования, а материалы их исторических пове-

⁴⁰ См. Б. Пенев, с. 68—86.

⁴¹ Возможно, что в обращении к читателям Паисий предпочитал не подчеркивать их «православную» исключительность еще и потому, что «История» его имела общebolгарское национальное значение, а некоторая часть болгар была католической, причем среди этой части болгар также проявлялись признаки роста национального самосознания, что могло быть известно Паисию (см. Ив. Дуйчев. Проява на народностно самосъзнание у нас през XVII векъ. — Македонски преглед, год XIII. [София, 1942], кн. 2, с. 26—51).

ствований будут привлекаться в качестве необходимых иллюстраций. Рассмотрение этих высказываний и материалов группируется вокруг четырех проблем — двух первых общественно-идеологического порядка (историограф и общество, историограф и читатель) и двух вторых профессионально-методологического порядка (историограф и историография, историограф и история), т. е. тех самых проблем, которые составляли предмет основных раздумий и забот самих старинных историографов.

ИСТОРИОГРАФ И ОБЩЕСТВО

Главным идеологическим стимулом развития историографии славянского Возрождения было осознание историографами общественно-наравоучительной пользы от «истории». Эта идея тяготела к гуманистическим воззрениям западноевропейского Ренессанса и в то же время опиралась на национальные традиции средневековой идеологии. Характерной тенденцией историографии была попытка совмещения авторитетов «священного писания» и античной мудрости, понятий религии и политики. Гавриил Бужинский усматривал достоинства переведенного им «Феатрона»⁴² в том, что в нем исторические сведения сопровождаются «богословскими и политическими рассуждениями» (1 об.), а труд этот опирается одновременно на «премножество свидетельств святых отцов и политических писателей» (4).

В сознании историографа возникало представление о близости и даже о равноценности исторических воззрений «отцов церкви» и языческих «отцов красноречия». Бужинский стремится доказать читателю, что сами «отцы святые» повелевали «не токмо в христианских, но и в языческих книг чтении обучатися» (6), хотя такое чтение и должно быть критическим. Рассуждая о пользе исторических знаний, Бужинский непосредственно переходит от ссылок на Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Василия Великого к ссылкам на Цицерона: «...о сем же великий во святителех Василий повествует...: яко же, рече,

⁴² Феатрон или позор исторический, изъявляющий повсюдную Историю священнаго писания и гражданскую... чрез Вилгелма Стратеммана собраный... СПб., 1724; см. *Theatrum historicum exhibens Memoriae juvandae causâ, per decem Exitus et per secula, omnes Reges, Imperatores, Pontifices Romanos, Vitos celebres...* M. Wilhelmo Stratemanno. Ienae, 1656.

от огня естественного сияние озаряет, от благоуханных ароматов разливается благовоние, тако от воспоминания действий мужей святых велия ко всем происходит полза» (4). Закончив эту цитату, Бужинский делает характерное замечание: «От похвал (которые расточались «истории» святыми — А. Р.) перейдем ко естеству ея и внимаим Цицерону, римскаго красноречия отцу, тако вещающу: есть, рече, история свидетелница времен, свет правды, жизнь памяти, наставница жизни, возвестительница древности; в книге — О ораторе» (4—4 об.).⁴³

Эти представления и эти образцы закрепились в русской историографии еще в пределах рукописной традиции XVII в. Анонимный историограф царя Федора Алексеевича (ум. 1682), составивший под некоторым влиянием хроники польско-литовскаго историографа М. Стрыйковского первое в России теоретическое введение к историческому сочинению, начинал свой труд с утверждения, что «ничто так не украшает человека и душевно и телесно и всякое человеческое житие, и гражданское пребывание исправляет», как изучение истории (XXXVI)⁴⁴. По мнению «славнаго Кикерона, — писал он, — именуется история учительница жития и свет истинный. Також и Фукидид, премудрый еллинский историк, именовал историю вечное наследие...» (XXXVI).

Столетие спустя выдающийся сербский историограф Йован Ранч считал, что историческое чтение должно «читателя возбудить к подражанию добродетели, и отвращению злочинных дел...» (18). Он подтверждал, что «история вся во обще, а иначе всякому своего отечества, праведно быти почитается учительница благонравия и премудрости и наказательница всякаго злочиния и без-

⁴³ Такие же ссылки Г. Бужинский делал в предисловии к книге: Введение в историю европейскую чрез Самуила Пупендорфия, на немецком языке сложенное, также чрез Иоанна Фридерика Крамера на латинский предложенное. Ныне же повелением великаго государя... Петра Перваго, ... на российский с латинскаго переведенное. Печатано в Санктпетербурхе, 1718, с. 7.

⁴⁴ Е. Замысловский. Царствование Феодора Алексеевича, ч. 1. СПб., 1871, Приложения, IV; здесь издапо только предисловие к исторической книге, которая в рукописи хранится в Ленинграде: Гос. публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (далее: ГПБ), собр. Ф. А. Толстого, Ф. IV. 159, на 693 листах. См. А. С. Лапко-Данилевский, с. 16—17; С. Л. Пештич, с. 45—52.

делства» (20) ⁴⁵. «...Отец красноречия римскаго», — продолжал он, — приписал истории «несравненную» похвалу: «История, глаголет он, есть свидетелница времен, свет правды...» (20) и т. д.

В вопросе о пользе «истории» первоначально на первый план выдвигались моральные принципы. Во «Введении кратком» утверждалось, что «история» служит «к житию непорочному и славным делом всем людям, наипаче же благородным...», а также учит «от всяких злых дел... отвращению» (7) ⁴⁶. Крупный церковный писатель Дмитрий Ростовский (ум. 1709) в предисловии к своей «Летописи» писал: «...учится же человек добре и богоугодно жити от образа прежде жительствовавших» (XI) ^{46а}. А. И. Манкиев (Манькевич), секретарь русского резидента в Швеции князя А. Я. Хилкова, занимаясь в долголетнем шведском плену историографией («Ядро Российской истории», 1715), писал, что «Истории великие видению человеческому приносят пользы, понеже в них, ...прежде живших бытия, советы, речения и дела, так добрые, как злые, видим» ⁴⁷.

⁴⁵ История разных славенских народов наипаче болгар, хорватов и сербов из тмы забвения изытая и во свет исторический произведенная Иоанном Раичем архимандритом во свято архагелском монастыре Ковпле, ч. 1—4, в Виенне, 1794—1795; ч. 1 была переиздана в СПб., «в Типографии корпуса чужестранных единоверцов», 1795; Предисловие к венскому изданию пагинации не имеет, она вводится нами.

⁴⁶ В ведение краткое во всякую историю по чину историческому от создания мира ясно и совершенно списаное. Сей же есть благородным юношам первейший степен Истории и Всех Премудрых Летописцов, хотящим читати, читающим, совершенно познавати; познавшим благоразумно о Всех Древних Деяниях Размышляти Разсуждати и Проповедати. Издана же Сия Книга по Указу пресветлейшаго государя нашего царя государя и великаго князя Петра Алексеевича... Anno 1699, напечатана в Амстердаме...

^{46а} Летопись иже во святых отца нашего Димитрия, митрополита Ростовскаго, новоявленнаго чудотворца, сказующая вкратце деяния от начала миробытия до Рождества Христова, собранная из божественных писаний, из различных хронографов и историков, греческих, славенских, римских, польских, еврейских и иных... Печатана в Москве в вольной типографии Ивана Лопухина, с указаного дозволения, 1784 году.

⁴⁷ С. Соловьев. Писатели русской истории XVIII века, в кн.: Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, изд. Н. Калачовым, кн. 2, ч. 1. М., 1855, Отд. 3, с. 4; (далее: С. Соловьев); см. М. А. Оболенский. Сведения об авторе «Ядра российской истории» А. И. Манкееве. — Библиографические записки. М., 1858, № 2, с. 33—40, 603—604.

В. Н. Татищев и М. В. Ломоносов, как указывают современные историки, в своих сочинениях уже прокладывали пути для новой исторической науки. Они овладели большим количеством источников, стремились по возможности, относиться к ним критически. Однако в своих общих взглядах на задачи и принципы исторического труда, равно как и в приемах изложения русской истории, они в известной мере еще следовали историографии своего времени. Татищев, например, продолжая рассуждения своих предшественников об «истории», писал в своей «Истории Российской» (законченной в 1750 г.), что история «учит о добре прилежать и зла остерегаться» (III)⁴⁸. История «учит добро творить и от дурного остерегаться» — подтверждала царица Екатерина II⁴⁹. Правдивая история, как писал великий Ломоносов во «Вступлении» к своей «Древней Российской истории» (законченной в 1758 г.), должна была «побуждать к похвальным делам...» (4)⁵⁰. «Все силы мои устремлю на омерзение пороков; всю возможность приложу ко приведению в любовь добродетели», — обещал читателям Иван Елагин (XL)⁵¹.

В предисловии к русскому изданию Барония подобные идеи развивались еще подробнее: от познания истории «премудростию и добродетелми, аки некими древними сокровищи, ... всяк обогатится может; а безумия и всех злодеяний..., отвратився возгнушается» (1). Следуя этому тексту с некоторыми сокращениями⁵², Паисий тоже признавал, что «Ведание прежде бывших в мире семь

⁴⁸ В. Н. Татищев: История Российская с самых древнейших времен неусыпными трудами через тридцать лет собранная и описанная покойным тайным советником и астраханским губернатором Васильем Никитичем Татищевым, кн. 1, ч. 1, напечатана при имп. Московском Унив. 1768 года.

⁴⁹ [Екатерина II]. Записки касательно Российской истории, ч. 1—6. СПб., 1787—1794, ч. 1, с. 1.

⁵⁰ Древняя Российская история от начала российского народа до кончины великаго князя Ярослава Перваго или до 1054 года, сочиненная Михайлом Ломоносовым статским советником, профессором химии и членом Санктпетербургской императорской и королевской Шведской Академий наук. В Санктпетербурге при имп. Академии наук, 1766.

⁵¹ Опыт повествования о России, кн. 1, 2. Сочинение Ивана Елагина, начатое на 65 году от его рождения, лета от Р. Х. 1790, двора его императорского величества обер-гофмейстера, М., 1803.

⁵² В. Велчев, с 22—23.

вещей и деяний живущим на земле не такмо полезно, но и зело потребно есть...» (41).

У многих историографов традиционные рассуждения о нравственной пользе от «истории» служили введением для изложения их политических идей. Заветной мечтой историографов стало стремление учить царей мудрости и справедливости ради общественной пользы.

Историограф царя Федора подчеркивал, что знаменитые монархи древности Александр Великий, Юлий, Август, Константин, Феодосий и Юстиниан предусмотрительно повелевали историкам «предков своих» истории «сложити», благодаря чему эти монархи «наипаче» и «в воинских и в гражданских делах славу великую получили» (XXXVII). По мнению этого историографа, общественная польза требовала того, чтобы монархический принцип правления сочетался с воззрениями философии, которые, как ему казалось, нисколько не противоречили богословской традиции: «...дивный Платон-философ написал, что тогда подданные благоденствуют, когда или философ царствует, или царь философствует, потому что философия несть иное, кроме того, что уподобится человек богу, елико возможно человеческому естеству...» (XL).

Гавриил Бужинский посвятил свой перевод «Введения в историю европейскую» Пуффендорфа «пресветлейшему и непобедимому автократуру и императору» Петру I. В предисловии Бужинский писал, прямо адресуясь к русскому царю, что историческое знание приносит «неизреченную пользу» всем, «при кормиле правления сидящим» (5). Для подкрепления этих утверждений им привлекался «римских историй писатель Тит Ливий», который свидетельствовал: «В истории, рече, обрящещи откуду себе и обществу пользу сотворити» (6). Мудрые цари «со скипетром историческия книги в руках своих обращали», и даже сам «Август, вселенныя единовластитель..., в истории всегда поучался, и пред иными сказывал истории» (6). По поводу переведенного им же «Феатрона» Бужинский отмечал, что и этот «малейший труд наш» будет «Российскому государству преполезнейший» (1 об.).

Историографы считали необходимым конкретно разъяснить монархам пользу «истории» для их внутренней и внешней политики. Во «Введении кратком» говорилось: «...егда бо властители поучаются с истории познавати вины мятежа и бунтов и разорения государств, ...сего ради

благоразумно... государства управляют, наказавшись» (8).

Паисий Хилендарский, следуя в значительной мере русскому изданию Барония, проповедовал аналогичные идеи. История, писал он, «великим властелином подает разум, како обладати своих, како от бога вручених подданных содержать во страхе божии, в послушании, тишине, правде и благочестии; како метежих укротити и искоренити, како навикнеши их врагов ополчитися, в бравах победити их, мир устроить» (42—44).

Подобные представления не были чужды и Ломоносову. Он писал: «История по всюду распростираясь... дает государям примеры правления, подданным повиновения, воинам мужества, судиям правосудия, младым старых разум, престарелым сугубую твердость в советах...» (4).

Правдивые «примеры правления» должны были, по мысли Елагина, препятствовать созданию царского культа. «Я ведаю,— писал он,— что зловерное ласкательство безстыдно творит государей богами, уставы естества побеждающими, следовательно и разумнейшими и ученейшими паче всех смертных...» (XLIV). И если «подданные» исправляются силою законов, то «государь имеет совесть, и, оную обновляя чтением, сам себя врачует. И к сему точно нужно есть государям познание предков их пороков...» (XLIV).

Ранее этого Татищев высказал более широкий взгляд на пользу «истории». По его мнению «ниже кое-либо правительство, меньше человек единственный, без знания оной совершен, мудр и полезен быть не может» (III). Если обычно говорилось о пользе «истории» для царей и подданных, то у Татищева говорится уже в духе новых рационалистических представлений о том, что благодаря историческому знанию сам человек сможет быть «полезен» для общества: По словам Федора Эмина, история показывает «чему следовать и чего убогать должно», а сочинение «истории» есть «дело, в котором многие просвященные общественной пользы желатели давно упражняются...» (V)⁵³.

⁵³ Российская история жизни всех древних от самага начала России государей, все великия и вечной достойныя памяти императора Петра Великого действия, его наследниц и наследников ему последование и описание в Севере златого века во время царствования Екатерины Великой в себе заключающая. Сочиненная Федором Эмшом, т. 1—3. В СПб., при имп. Академии наук 1767—1769; цит. т. 1 (при цитации других томов дается ссылка: Ф. Э м и п).

Торжественно посвящая свой труд «Роду и обществу», Раич писал, что история народа — это «благополучного государства прозорливые очи, которые в пред за много лет просматривают... Зане политическая сия и проницательная очи...» (21).

* * *

Утверждение правоучительной пользы «истории» для государства и общества требовало подтверждения конкретным персонифицированным примером. Такой пример отыскан в авторитетном для историографов политическом предании о Византийской империи. Украинским и русским читателям XVII в. был известен до сих пор мало изученный «Тестамент или завет Василиа, царя греческаго, к сыну его Лву Философу», приписывавшийся императору Василию I Македонянину (IX в.) и представлявший собой обширный кодекс общественной и частной морали^{53а}. В главе 54-й «Тестамент» — «О почитании книжном» — говорилось: «Списания древняя прочитати не ленися, в них бо обрящеша без труда, яже бни с трудом снискаша, и от них навикнеша тцаливых мужей добродетели, такожде и злых злобы; житейская же многообразная прелагания и иже в нем вещи пременеция, и мира нестойтелное, и власти удобь отпадающее, и просто рещи, злых убо дел отдаianie, спешных же деяний воздаяние...» (68 об. — 69 об.). Здесь говорится о «почитании книжном» вообще и «списания» древние еще не имеют специального историографического приурочения. Но уже в украинском переводе этого текста (1607 г.) делается существенное терминологическое уточнение, прямо адресующее данное рассуждение к историографии:

^{53а} «Тестамент» был известен в русской рукописной традиции XVI в., а затем был издан при параллельном украинском переводе («простою мовою») в качестве приложения к книге: Лекарство па оспалый умысл человекий... [Острог, 1607]; см. В. Н. Петец, «Тестамент царя Василиа» в украинских переводах. — Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI—XVIII веков. Сб. ОРЯС АН СССР, т. CI, № 2, Л., 1926. Впоследствии было еще 8 изданий «Тестамент»: издание Спиридона Соболя, 1638; Киевские, 1646, 1680; Московские, 1661 или 1663, 1680, 1776; Петербургские, 1718, 1724; цит. по изд.: М., 1680; см. Basillii Romanorum imp. Exhortationum Capita LXVI ad Leonem filium cognomente Philosophum. Bernhardus Damke Hamburgensis recensuit et notos adjecit. Basiliae. 1633.

«Кройник и писм старых читати не ленуйся...» (166). Историкографы извлекли из «Тестаментa» данную главу и приспособили ее к своим нуждам. Московское издание «Тестаментa» (1680 г.) было осуществлено «повелением» царя Федора и «благословешем» патриарха Иоакима. Поэтому вполне естественно, что этим памятником заинтересовался историкограф царя Федора. Стараясь укрепить значение историкографии, он пересказывал поучение «Тестаментa»: «Того ради и Василий Македонянин, славный царь греческий, сыну своему Льву Премудрому и царю... историю похвалил: „Истории древнии прочести не ленись, тамо бо сыщеша без трудов, которые иные и с трудами собрали, и отгуду исчерпаеша и добрых добродетелей и злых прегрешений, и человеческого жития разные пременения, и вещей в ней разорение, мира сего непостоянство, и государств незаные падежи...“» (XXXVII). В «Летописи» Дмитрия Ростовского говорилось: «...благочестивый царь греческий Василий Македон сыну своему Льву премудрому завещает, глаголя: „Списания древних деяний прочитовати не ленися: в тех бо обрящеша без труда, яже иныи многим трудом снискаша, и отгуду добрая, злых же — злая дела уразумеша.. и царств удобное падение познаеша“» (XII). Манклев также ссылался на то, что «...славный ов Василий кесарь.. к Леону, сыну своему,... ово политическое увещание писал: „Чрез Истории ити не откажи...“»⁵⁴.

В предисловии Бужинского к истории Пуффендорфа приводится такое же рассуждение «премудраго и преславнаго царя и монарха константинопольскаго Василиа Македона, иже в духовной своей грамоте Льву, сыну своему, ...оставил поучение: „Истории, глаголет, древних чести не ленися...“» и т. д. (5). Бужинский адресовал это поучение Петру I — «отцу отечества»: «сие он (Василий. — А. Р.) сыну, ты же всем российским сыном предаеша» (5)⁵⁵. В предисловии к «Феатрону» Бужинский использовал цитату из завещания кесаря Василия для похвалы этой

⁵⁴ С. Соловьев, с. 4.

⁵⁵ Легенды о кесаре Василии были вообще распространены: «Да слышал я, — писал Татищев, — от ученого грека, что император Василий Македонянин некоторую книгу историческую славянским языком писал, которая до днесь у патриарха хранится, по сие в сумнительстве...» (История Российская, кн. 1, ч. 2. М., 1769, с. 497).

книги, из которой читатель «без премногого труда» получит те знания, «иже инии с великим трудом получают» (5).

Завещание Василия Македонянина вошло и в русский перевод предисловия Скарги к труду Барония: «... премудрейшему сыну своему Льву кесарю Философу Василий кесарь восточный... ко чтению истории увещевая его глаголет: „Историю (рече) древних читати не преставай, тамо без трудов то обрящещи, о чесом инии много трудишася. От них увеси благих добродетелей, а злых законопреступления. Познаеши пременение жизни человеческия и обращение благополучия в ней...“» (3 об.).

По наблюдениям Р. Пиккио, этого завещания Василия не было в оригинале предисловия Скарги, и введение его в русский перевод оказалось той необходимой «византинизацией», которая содействовала приспособлению этого католического сочинения к требованиям православной читательской среды⁵⁶. Приведенные нами материалы показывают, что данный сюжет вошел в русскую историографию и свободно варьировался в ней задолго до подготовки московского издания Барония. Историкограф царя Федора, Дмитрий Ростовский, Манкиев, Бужинский обнаружили известную самостоятельность в языке и стиле при воспроизведении этого излюбленного сюжета.

Назидательное значение этого примера было оценено Паисием, и он воспринял его из предисловия к изданию Барония в следующем своем переводе: «Зри коллика полза от истории. В кратце то изъвил Василия, кесар вѣсточни, сыну своему Льву Премудрому. Учит его и глаголет: „Историю, рече, читати древних не престаи. Тамо бо без трудов то обрещещи, о чесом и ины много трудиша се. От сих увеси блгких добродетели, а злих законопреступления, познаша пременения жизни члвческой и обращения блгполучна в ней, и непостоянство мира сего; како и великая гдрства ка падению прекланяют ся...“» (44).

⁵⁶ Р. Пиккио, с. 7—8; исследователь считает также, что завещание Василия было введено в русский перевод предисловия Скарги взамен имевшихся в нем ссылок на почитание истории Ассуром и Дарием. Но такой замены не было, так как отмеченные у Скарги ссылки на Ассура и Дария почти точно переведены в русском издании: «Великий монарх мира сего Артаксеркс (вместо Ассура. — А. Р.) прочет нощию книги памятных дней, си есть историю, умудрися... Дарий такожде обладатель многих царств, воззрев в книгохранительницу, и прочет деяния прежде бывшего царя Кира, научися от них познавати бога истиннаго...» (3—3 об.).

Таково соприкосновение Паисия через посредство московского издания Барония с русской историографической традицией, восходящей к XVII в. Но рассуждения Паисия о пользе истории, основанные на завещании Псевдо-Василия, не были устаревшими и для своего времени. Достаточно вспомнить в связи с этим, что в России в 1776 г. это завещание было заново переведено с греческого и официально преподнесено цесаревичу Павлу митрополитом казацким Веньямином, причем в посвящении говорилось, что «Василий... предписал сыну своему Льву краткия, но паполнепшыя важности наставления», которые и преподносятся «в разсуждении сходственности обстоятельств» наследнику «Всероссийския державы» (4—5)^{56а}. В этой книге находим привычные поучения: «В чтении древних историй неленостно упражняйся; в них бо без труда обрящеша то, что другие с трудом собрали, и оттуду узнаеша благих мужей добродетели, а злых пороки, и многоразличныя перемены жизни, в ней изменение всех вещей, непостоянство мира....» (76).

* * *

В период образования наций славянская историография была проникнута национально-патриотической идеологией, нередко выражавшейся в декларативно-публицистической форме. Разъяснив читателям общую нравоучительно-политическую пользу «истории», историографы переходили к изложению важнейших для них представлений о ее непосредственной пользе для родного народа. Историография должна была прославить свой народ или восстановить его былую славу. Еще Мавро Орбини указывал на то, что иудейские «историки великопочтенные... прославляли дела иудейская», а «дела греческая» тоже были «прославлены многими историографами», равно как и «дела римская», «дела индейская, персидская, египетская и протчая» (1—2)⁵⁷. Все они «прославляются та-

^{56а} Василия Македонянина царя греческаго увещательныя LXVI глав к сыну своему Льву имеюще краестинше.... С ельпискаго на славенороссийскій язык в Казанской семинарии переведеныя. В Москве. При Университетской типографіи 1776 года.

⁵⁷ Книга Историография початия имене, славы, и разширения народа славянскаго, и их царей и владетелей под многими именами, и со многими царствіями, королевствами и провинціями. Собрана из многих книг исторических, чрез господина Мавроур-

кими славными историографами, которые все на письме своих народов дела прославляли с немалыми трудами и прилежностью» (3). Такая же задача стояла и перед славянскими историографами.

Историограф царя Федора писал: «И та есть всепородная польза, что не токмо самому себе российскому народу будет ведомость истинная о своих предках, ...но и иным народам будет познание и ведомость, ... и оттуду и слава московскому и российскому народу...» (XLI). Известный, но еще мало изученный писатель, стихотворец и историограф, дьякон Холопьего монастыря (около Углича), видимо, украинец по происхождению, Тимофей Каменевич-Рвовский в своем сочинении «О начале славенороссийскаго народа и градов Москвы, Новаграда Великаго и протчих» (1699) писал, что он замыслил этот труд «во общую ползу написать, ведения ради роду московскому моему» (25)⁵⁸, он стремился оставить «славянопоросийскому роду своему память вечную...» (39).

На Украине переписчик, а в известной мере и составитель Густынской летописи перомонах Михаил Павлович Лосицкий (1670) обращал свой труд к «чителнику ласковому», любящему «дым своей отчизны» (233)⁵⁹.

Эти патриотические убеждения историографов получают еще большее развитие в XVIII в. Указывая на великое значение историографии, Ломоносов усматривал его прежде всего в том, чтобы для своего народа «соблюсти похвальных дел должную славу...» (3). Общественная ответственность историографа, по мнению Ломоносова, состояла в том, что «разум» его обязан был «...внимать и наблюдать праведную славу целого Отечества: дабы

бина архимандрита Рагужскаго... Переведена со италианского на российской язык и напечатана повелением и со время счастливаго владения Петра Великаго... в Санктштербургской Типографии, 1722 году Августа в 20 день; см.: *Il regno degli slavi hoggi corrotamente detti Schiavoni historia di don Mauro Orbini Rauseo... E in particolate veggonsi i successi de'Re, che anticamente dominarono in Dalmatia, Croatia, Bosna, Servia, Rossia et Bulgaria.* Pesaro, 1601.

⁵⁸ Текст издан в кн.: Ф. Г и л я р о в. Предания русской начальной летописи. М., 1878, с. 25—39; см. А. Т и т о в. Тимофей Каменевич Рвовский. (По поводу напечатанных его сочинений).— Библиографические записки, М., 1892, № 3, с. 174—178.

⁵⁹ Полное собрание русских летописей, т. 2. СПб., 1843, с. 233—373.

пропущением надлежащая похвалы — негодования, приписанием ложных — презрения не произвести в благорасудном и справедливом читателе» (4).

Особенно сильно зазвучала эта патриотическая публицистика в сочинениях историографов болгарского и сербского народов, переживавших тяжелейший период турецкого ига. Паисий обращался к болгарам: «И вам нужно есть да знаете извесно деяния оц ваших, како що знают вси други родове и язицы за ныхни род и язицы, имают и истории, и хвалит се за свой род и язык» (46). С неповторимым патриотическим одушевлением посвящал Паисий свою «историю» болгарам, «кои ревнуеть по своего рода и по свое отечество болгарское» (45). Он подчеркивал: «Ради ваша полза и похвала написах вам, да кои любити знати за свои род и язык...» (46).

Составитель и переписчик «Родословия сербского» (1791) Иосиф Трionoшский адресовал свой труд «на пользу всем желающим знати» (20)⁶⁰, а Йован Ранч в «Предисловии к любителю истории» подробно пояснял, как он «вознамерился крайнее усердие и любовь ко отечеству своему... засвидетельствовать» своим историческим сочинением, описывая «древности и приключения рода своего» и ревнуя «ко общей пользе отечества своего...» (13).

Наличие у какого-либо славянского народа своей историографии сделалось предметом национального престижа, а отсутствие таковой — поводом для насмешек со стороны представителей других народов.

Историограф царя Федора сетовал на то, что будто бы у всех народов есть «книги и истории своего государства..., толко московской народ и российской историю общую от начала своего не сложили...» (XLII). Киевский писатель и преподаватель, игумен Михайловского златоверхого монастыря Феодосий Софонович в предисловии к своей «Кройнике» (1672) писал: «Каждому бо вем необходимая есть речь о своей отчизне знати и иным пытающим сказати. Бо своего роду не знающих людей за глупых почитают» (1)⁶¹.

⁶⁰ Я. Шафарик. Сербский летописец из початка XVI-го столетия. — Гласник друштва србске словесности, свезка V, у Београду, 1853, с. 17—112.

⁶¹ Хроника Ф. Софоновича не издана; цит. по рукописи: ГПБ, собр. Ф. А. Толстого, F. IV. 215, ср. F. XVII. 19.

Паисия мучила мысль о том, что болгары «не имеют история заедино совокуплена за преславная деяния испервая времена рода нашего...» (157). Надо читать историю, учил он, «... да не будете от други родове и язицы подсмеваеми и укоряеми» (46). Он жаловался: «...многожды укоряху нас сербие и грецы, зацо не имеем своя история» (157). Греки принимали болгар «за прости и глупави, и укорували их с njihна мудрост и политика...» (125). Но Паисий старался доказать, что в древности «...не са били наши болгарски прове и патриарси... без летописны книги и кондики» (49).

Создавая «историю» Сербии, Раич писал, «что вси народи потщалися нелепостно всяк своего государства дела и приключения славою описати, един точию народ сербский...» оказался лишенным этого (14).

Престиж русской историографии защищал Татищев, который писал: «И хотя нас европейские историки тем порицают, яко бы мы историй древних не имели, и о древности своей не знали, для того что они о том, какие мы истории имеем, неизвестны...» (V—VI).

«Не мало имеем свидетельств, — подтверждал Ломоносов, — что в России толь великой тьмы невежества не было, каковую представляют многие внешние писатели» (2). Несмотря на наличие значительной русской историографии, Эмин писал: «...многие государства... тщатся иметь исправную своего отечества историю... Одни только мы поныне не следовали сему общему предприятию» (VI).

* * *

Историография претендовала на большое общественное значение, и поэтому историографы должны были бороться за то, чтобы их новая дисциплина заняла достойное место в кругу главнейших наук своего времени. Уже во «Введении кратком», перечислив книги «математическия, еометричныя, архитектонския и ратныя земныя и морския, всякия художныя», составитель объяснял, что данное сочинение «не точию въ ведет во всякую историю, но и во всякую выжае именованную книгу, и по подобию ключа всякую от тех отворит...» (1). Гавриил Бужинский при посвящении «Феатрона» Петру I старательно разъяснял исторические основы всех наук (богословия, философии, юриспруденции, «мафематики», «войнского настав-

ления», «корабельного мореплавания», архитектуры, «учения врачейского»): «вся она учения духовная и гражданская.. на историческом познании основана суть» (2). Юриспруденция, например, потерпит урон, «егда от истории не познает прежде бывших поведений и уставлений», а правоучительная философия имеет «со историею превеликое сопряжение: учит оберегаться от злоб и прилежати добродетелем, но вся историческими заключает примерами» (2—2 об.).

В такой трактовке историография стремилась сделаться как бы наукой наук и должна была занять посредствующее положение между официальной религиозной доктриной и гражданской жизнью. Бужинский считал, что каждый читатель найдет в «Феатроне» не только исторические «примеры, им же подражати и их же устранитися долженствует», но даже «познает путь к вечному веселию, им же даждь превышний владыко нам шествовати, такожде путь, отводяй в вечную пагубу...» (2 об.).

Татищев также обосновывал «пользу истории» для главнейших наук, замечая, в частности, что «вся философия на истории основана и оною подпираема...» (IV). Эмпир писал: «Физики в нынешнем веке ищут истории испытуемых ими тел, а богословы, оставив предания, обращаются к физике. Щастливы те, кои от философической истины не удаляются, ...вещи могут зреть в настоящем их виде и писать историю с желанным успехом»⁶². По убеждению Раича, всякая «мудрость или книжное ведение особенныя своя имеет пределы» (25). Так, «ифика» (этика) заботится «о нравах добрых же и худих», «физика» рассуждает о «естестве» вещей, «а история есть всем нечто общее, ни едина от помянутых тех вежеств, кроме сея (т. е. истории. — А. Р.), обойтись не может» (25—26). Историю «парещи можно некоторым общим сокровищем» и «якоже ни едина пища без соли вкусна и приятна есть, тако и всякое искусство книжное без историческия соли вкус свой погубляет» (26). Раич попытался обосновать эти идеологические претензии историографии: «Но негли на сне помыслит кто, что не историческое дело есть исправляти нравы и обращати к добродетели, но философское и богословское, а истории есть просто и праведно описивати приключения, обаче и сего отрещи не можно, что ничто

⁶² Ф. Э м и н, т. III, с. V.

лучше не исправляет человеческия нравы, якоже подражание примером благим» (18—19). «Примеры благие» предлагалось черпать уже не из церковно-учительной литературы, а из «истории».

Патриотическое воодушевление историкографов заставляло их возвышать любимый ими предмет над всеми знаниями вообще. М. М. Щербатов особенно выделял «единую из знатнейших частей познаний человеческих, то есть историю» (3) ⁶³. Неизвестный по имени автор провинциального «Краткого начертания российской истории» начинал свое «Предуведомление» с утверждения: «Нет нужды (здесь) доказывать, что знание истории своего Отечества предпочитать должно всякому другому повествованию рода человеческого» (III) ⁶⁴.

* * *

Если историкография была призвана поучать царей и народ, если она претендовала на ведущее место в кругу наук, то и труд историкографов должен был расцениваться ими самими не как частная деятельность историков-исследователей нового времени, а как общественно-патриотическая миссия. Так, Раич приступил к сочинению «истории» потому, что «внутреннее некое ощутил в себе, тако рещи, мановение...» (13). В духе рационалистов XVIII в. он полагал, что «блаженно» лишь то общество, в котором «все члены, яко малыи, тако и великии, вся делакия своя и происки ко общей пользе управляют...» (10). Среди этих членов общества значительное место должно было принадлежать историкографу, и поэтому Раич «убоялся, да некако, или с ленивым рабом осудится, или яко гнилой уд в теле общества своего покажется...» (12—13), если не напишет отечественной истории.

Занятие историкографией требовало от историкографа самоотверженности, порой почти жертвенности. Пансий счел необходимым отметить, что, сочиняя «историю», он

⁶³ История Российская от древнейших времен. Сочинена князь Михайлом Щербатовым, т. 1—7. СПб., 1770—1791, цит. т. 1.

⁶⁴ Краткое начертание российской истории, служащее руководством к обстоятельному познанию древних и новых произшествий сего государства. Изданное для пользы и удовольствия младых россиян. С присовокуплением нужных объяснений встречающихся материй. Калуга, 1794; на обороте титульного листа характерный эпиграф: «О отечество драгое! обиталище богов! Горазд.»

«презрех свое главболне, от кои за много [време] страдах и утробю болех» (157). Раич «паче себе и слабога своего здравия предпочтил засвидетелствовати» своим трудом любовь и усердие «ко отечеству своему» (13). Исторические занятия вызывали самоотверженность и у Елагина, который писал: «Не взирая на то, что я всю тягость лет и болезней, яко природных человечеству врагов, непрестанно ощущаю, однако не могу еще ни на минуту быть без работы... Читая повествования мира сего, в размышлениях забываю естественныя скорби разслабленного моего тела...» (V).

Миссия историкографа осознавалась им самим как миссия первооткрывателя родной истории, снимающего с нее покров «забвения».

Еще историкограф царя Федора полагал, что «славные дела» предков, «которые покрыты были темнотою забвения, всеми историями открываются...» (XLI). Значительно позже Ломоносов писал, что «из великого... множества» деяний и приключений наших предков «не мало по общей судьбине во мраке забвения покрыто» (2).

Но если для русских историкографов, воспевавших могущество самодержавной России, представление об историческом «забвении» выражало их сожаление по поводу скудости свидетельств былой славы своего государства, то для украинца Самуила Величко, болгар Паисия и Спиридона, серба Раича понятие «забвения» приобретало более широкий характер.

Выдающийся украинский историкограф Величко, «канцелярист» в гетманской канцелярии Войска запорожского, в предисловии к своему замечательному «Сказанию» (1720) писал, что во всем «подобіє іностранним в воинских случаях давних времен и веков бывшіе рыцерскіе отваги и богатырскіе деянія» его «сармато-козацких» предков остались без описания и «всегдашного забвенія... іх плащем увидех покритіє» (2)⁶⁵. В чем же была причина этого «забвения» былой славы? Взглянув вокруг себя, Величко увидел пространные «поля и розлегліє долини, леси и обширніє садове, и красніє дубрави, реки, стави, і езера запустеліє...» (3). Он видел «много костей человеческих, сухих и пагих, тилко небо покров себе имущих, и рекох

⁶⁵ Самійла В е л и ч к а. Сказаніє о войне козацкой з поляками. У Київі, 1926.

во уме: кто сут сїя?» (3). Он пояснял, что «красная и всякими благами прежде изобиловавшая земля и отчизна наша Украинномалоросійская во област пустыне богом оставленна, и населницы ея, славнии продки наши, безвестны явишася» (3).

Подобные чувства были близки известному болгарскому историографу Спиридону (1792), который писал: «...видавши я такового прежде бывшаго славнаго народа, ...в таковое забвение и уничижение крайное пришедша...» (1) ⁶⁶. Поэтому он и «дерзнул написати.., да не до конца в забвение будет» (1). Эту идею Раич выразил в самом заглавии своей книги: «Исторія разных славянских народов... из тмы забвения изытая и во свет исторический произведенная...» По его мысли, в Сербии, некогда могучей и славной, из-за феодальных раздоров и турецкого завоевания «воспоследовало крайнее и во век не оплаканное заустение» (22). Все народы имели свою историографию «един точию народ сербский в забвению и последнем презрении остал» (14).

Но проникновеннее всех эту тему «забвения» родного народа выразил Паисий. Он писал, что, придя на Дунай, «нашли болгари добра и изобилна земля населили ся» (56), «обрели толика земля красна [и] изобилна» (59).

Века «благополучнаго» болгарского царства прошли. Турецкие завоеватели «...отимали места црковни..., и велики домови, и ниви, и виногради...» (119). Тогда болгары «плакали горко и жалостно по свое црство болгарское...» (119). Турки уничтожили «много народ болгарски ради православную веру... И тако преишло в забвение страдание и имена их» (156). Наконец, Паисий как бы оживил родную историю: «И от много вѣмена погребенная и забвенная едва совокупих заедино...» (158).

Освобождение истории народа от покрова «забвения» у Паисия перестает быть темой только познавательно-историографической и перерастает в проблему философско-историческую. Отправляясь от провиденциальных идей русского издания Барония о том, что бог «царства мира сего... погубляет и паки насаждает» (44) ⁶⁷, Паисий

⁶⁶ В. Н. З л а т а р с к и. Исторія во кратцѣ о болгарском народѣ славенскомъ сочинися и списася в лѣто 1792 Спиридономъ іеросхимонахомъ. София, 1900.

⁶⁷ См. В. В е л ч е в, с. 27.

приходит к собственному заключению относительно временного характера «забвения» своего народа: «Мнит ся нам навремены, аки бы всеконечным забвением не радил и не брегал о нас. Но несть тако...» (44). Для укрепления этой мысли он ссылается на пример: в еврейских «летописных» историях рассказывается, «како много путы предаваше их в плен и заустения, и собираше и укрепляше их на црство, якоже и нине видит ся от падения восточнаго црства греческаго и болгарскаго. И мнит се нам за невсе-конечно отвержено биеть от бога и забвено...» (44).

Разделяя в общем провиденциальные представления подобного рода, Раич уже начинает мечтать и о реальных возможностях освобождения своей родины с помощью единоверцев: Сербия — «неволница и раба зверовидных султанов турских сталася по неизреченному правосудию божию. Из под котораго ига и жестокия работы волности своя ищущий и до ныне ожидает, желая свободитися помощью от христианских рук»⁶⁸.

Из приведенных материалов видно, как тесно историографические проблемы переплетались с проблемами философскими и политическими, а тема освобождения отечественной истории от мрака «забвения» связывалась с темой национального освобождения.

⁶⁸ И. Раич. Указ. соч., ч. 2, с. 151.

ИСТОРИОГРАФ И ЧИТАТЕЛЬ

Высокая нравственно-политическая миссия историографии налагала определенные обязательства на историографа и на его отношение к своим читателям.

Прежде всего историограф должен был сам следовать тем идеям, которые он проповедовал обществу, и поэтому критическому обсуждению подвергались не столько его знания, сколько его моральный облик. Определение благонадежности историографа с позиций общественно-этических и национально-патриотических служило как бы гарантией достоинства его профессиональной работы и для данного периода в известной мере заменяло позднейшие представления об идейно-теоретических критериях исторической науки.

По мнению Раича сочинение «истории» должно было быть всегда «со благим намерением сопряжено» (17). Этот взгляд восходил к старой традиции, согласно которой гарантами исторической объективности должны были быть не только «намерения» историографа, но и состояние его «души». Историограф царя Федора требовал, «чтобы душа и охота историкова была бы тихая и ничем смущенная, также и слово бы было чистое... и ясное, тихий бы был историк, и не суров, и правдою б все писал, а не ласкательством или иным каким страstem повинен...» (XXXIX)⁶⁹. Много позже Эмин вновь повторял эти требования к историографу, основывавшиеся на значительности общественно-правоучительных задач его труда. Он писал, что «честный человек столько должен наблюдать

⁶⁹ Так создавался идеал древнего историка, воплощенный А. С. Пушкиным в образе Пимена: «Спокойно зрит на правых и виновных..., не ведая ни жалости, ни гнева» («Борис Годунов», указ. изд., т. 7, 1948, с. 18).

честность в своих писаниях, сколько и в делах. Ежели лож и обман везде презренны, кольми паче безъчесты в Истории...» (LIII). Он признавал, что «по большей части случается в Истории лож, от ласкательств произшедшая» (LIII).

Эти требования от каждого историографа правдивости, независимости его от «страстей» и «ласкательств» отнюдь не означали требований от него исторической объективности. Напротив, они предполагали наличие у образцового историографа «полезной» для общества тенденциозности, которая, по мнению историографа царя Федора, должна была выражаться в поучительных оценках предмета исторического описания. Эти оценки должны были быть определенными, но осторожными, как бы незаметными для читателя: «...сие похвали, только бережно и вкратце, и будто иное делаешь, а другое — осуди, ...чтобы добродетели не умолчались, также и злодеяния явно бы было...» (XXXIX). Историограф должен был самым тоном и стилем своего повествования влиять на читателя, давая ему почувствовать, что он сам описываемым им «добрым делам слогом и словом своим будто совеселится, а противным — сопечалуется» (XXXIX).

Эти требования к историографу сочетались с типичными для периода формирования славянских наций представлениями о неразрывных связях между национальной историографией и самим ее объектом — историей данного народа. Такие представления основывались на патристическом мирозерцании историографов, согласно которому патриотизм органически связывался с самой «природой» его носителей. Опираясь на авторитет Гомера, Михаил Лосицкий писал: «Прирожденная есть якась хуть и милость отчизне своей жадному човекови, которая кожного не иначе едно, яко магнес камень железно, так до себе потягает, що оный поста грецкий Гомерус ясне до их в своем тексте выразил...» (233). Из этих представлений выросло убеждение, выраженное историографом царя Федора так: «...всякой народ про себя, и про дела своя, и про страну свою лучше умеют списати, нежели чужой» (XLII). Таким путем в качестве второго гаранта объективности и достоинства историографа (помимо свойств его «души») выдвигалась его национальность.

Значение этой морально-идеологической и национальной ориентации историографии подчеркивается тем об-

стоятельством, что позже и Татищев отмечал важность самого факта национальной принадлежности историка, который о своем отечестве, если «страстно самолюбия или самохвальства непобежден, всегда блсе способна имеет правую написать, нежели иноземец...» (X). Автор «Краткого начертания российской истории» пояснял: «...люди всегда чувствительнее бывают к делам своих предков, нежели к делам неизвестных им народов...» (IV).

Составитель предисловия к «Истории русов» стремился укрепить доверие читателя к этому сочинению сообщением о том, что оно было получено из рук Г. Конисского, который был «природный малороссиянин и долголетно находился в Киевской Академии префектом и ректором» (II) ⁷⁰.

Ломоносов (в 1764 г.) выдвинул требования к академическому историку, во многом близкие этой историографической ориентации. Следовало, писал он, «смотреть прилежно: 1) что он (историк) был человек надежный и верный, и для того нарочно присягнувший, чтобы никогда и никому не объявлять и не сообщать известий, надлежащих до политических дел критического состояния, 2) природный россиянин, 3) чтоб не был склонен в своих исторических сочинениях ко шпынству и посмеянию» ⁷¹.

* * *

Отмеченные нами отвлеченные общественно-этические и национальные требования к личности историографа пополнялись со стороны самих историографов автобиографическими сведениями. Осознание историографами высокого назначения своих сочинений и стремление их к дружескому общению со своими читателями, на которых эти сочинения должны были поучительно воздействовать, вызывало у ряда историографов потребность хотя бы кратко рассказать о себе, о своей вере и национальной принадлежности, о своей любви к родине и о тех или иных обстоятельствах своей работы и жизни.

⁷⁰ История Русов или Малой России. Сочинение Георгия Конисского, Архиепископа Белорусского. М., 1846.

⁷¹ Написанный М. В. Ломоносовым проект «Регламента Санкт-петербургской императорской Академии наук». В кн.: [П. С.] Б и л я р с к и й. Материалы для биографии Ломоносова. СПб., 1865, с. 660 (далее: Б и л я р с к и й).

Обычно, по традиции, историографы сначала называли свое имя и общественное положение, а также место своей работы или своего происхождения и год завершения работы уже в самом заглавии «истории». Затем к этим сообщениям добавлялись и другие автобиографические сведения. Например: «Кройника з летописцов стародавних... Собранная працу иеромонаха Феодосия Софоновича, игумена монастыря Михайловского златоверхого киевского року от сотворения света 7180, а от родства христовы 1672» (1). Софонович начинал свой труд со свидетельства: «В Руси я уродившись в вере православной...» (1). Такой же характер имела надпись Спиридона: «Сей летопис сочинися и списася в лето 7300 в земли Молдовалийской, в монастыре Немца Спиридоном иеросхимонахом» (108). Подобные надписи были в равной мере свойственны и светским историографам. Так, в заголовке своего «Сказания о войне козацкой з поляками» Величко сообщает: «...написанное тщанием Самоила Величка в селе Жуках уезду Полтавского року 1720». Он довольно подробно говорит о том, как он писал это сочинение, и заканчивает предисловие подписью, содержащей любопытную автохарактеристику: «Истинный Малія России сын..., бывший иногда в егерской войсковой Гетманской канцелярии канцеляриста В[ойска] З[апорожского]» [4].

На печатном титульном листе сербского историографа сообщалось: «История... во свет исторический произведенная Иоанном Раичем, архимандритом во свято архагельском монастыре Ковиле».

Говоря о своей работе, историографы особенно любили подчеркивать свое трудолюбие, основанное на патриотических побуждениях. В предисловии ко «Введению краткому» говорилось: «И тако, благочестивый читателю, с великим пощечением потрудихомся сокровенная в сей книзе открыти...» (2). Величко писал: «...я, трудолюбствуя, понудихся для выгоды твоей, любопытствующий читателю малоросійский, вывести... историю...» (3). Щербатов, обращаясь к Екатерине II, писал: «не презрели воззреть на мое трудолюбие и паче на известную вашему величеству любовь мою к отечеству» (3). Эмин настаивал на том, что «...ни одно почти сочинение толь великаго труда и терпения не требует, как история» (XI). Раич уподоблял себя «трудолюбной оной пчеле» (13).

Наибольшего развития достигают все эти элементы автобиографизма у Паисия. В заглавии он сообщает: «История славеноболгарская... Собрано и переждено Паисием перомонахом бывшего и пришед во Стые гори Афонския, от епархии Самоковския, в лето 1762...» (45). Автор неоднократно подчеркивает, что ради пользы «роду болгарскому» он «излиха поревновах» и «много труд сотвори» (46), «Аз много кпигы и премного прочетох и визсках прилежно...» (49), «Аз вси мон[а]стири Стогорски истражих, где имеет болгарски стари кпиги..., такожде и по Болгария по много места...» (156), «Аз по многих кпигах [и] историях зрех много известия... Много потрудих ся за два лета собирати от много кпигы и истории. И у Немцыя по много за то намерение ходих» (157).

Историограф порой сообщал читателю о своих внутренних переживаниях, вызванных печальными судьбами родного народа. Величко «поболех сердцем и душею» (3) о запустении Украины. Паисия снедала «ревност и жалос по своего рода болгарскаго, защо не имеют история...» (157). Спиридон пояснял мотивы своего труда так: «Сожалел я о своем народе» (1). Иосиф Тронецкий объединял себя со своим читателем в эмоциональном отношении к обстоятельствам сербской истории: «...и во мне бе сердце затверждено, обаче преписуюћи и чтећи, много горких суза проливах; тако и ти, любезний читателю, со усердием сия прочитай и будещи слезы проливати» (20). Так внимание к собственной личности и ее обязанностям приводило историографов к необходимости обратить внимание на личность и переживания своих читателей.

* * *

Проблема взаимоотношений между писателем и читателем имела свои особенности применительно к историографии. Нравоучительно-политические задачи историографии предполагали глубокое воздействие ее не только на воображение, но и на общественное поведение читателя. В сознании историографов созревали просветительские идеи, побуждавшие их верить в непосредственную «пользу» от чтения их сочинений. Поскольку в представлениях историографов история слагалась из «деяний» людей, от которых зависели и «деяния» народов, проблема общественного прогресса начинала осознаваться ими

как проблема преемственности и приумножения исторического наследия через личный опыт каждого человека. Читатель, которого следовало научить «истории», становился потенциальным субъектом исторического развития. Отсюда возникли рассуждения о возможностях обогащения человеческого опыта историческим знанием в кратких пределах человеческой жизни.

Историографы по-новому использовали христианские представления о том, что реальная жизнь человека является «кратким», хотя и определяющим, введением в последующую «вечную» жизнь его души. Все их внимание обратилось на то, чтобы увеличить социальную ценность именно этого «краткого» периода человеческой жизни. По мнению историографов, историческое знание могло не только компенсировать кратковременность непосредственного опыта человека, но позволяло ему яснее осознать окружающую его действительность и даже прозревать будущее.

В системе этих воззрений роль самого историографа понималась как роль посредника между общественным опытом прошлого и современностью. Михаил Лосицкий в предисловии к Густынской летописи писал, что «авторове Кройники сей российское были людьми смертельными и знали заповне, же смертию закочити мусят, припрожною милостию противко отчины своей зняты будучи, прагнули того, абы и по их зепстю последнему роду не были прошлые речи, а мяновите народу российскому скрытые...» (233). Если бы историографы не заботились о передаче человеческого опыта из поколения в поколение, то не было бы никакого развития: «...зараз бы з телом без вести все сходило в землю, и людие бы, як у тме будучи, не ведали, що ся прошлых веков деяло...» (233). Ломоносов подошел к этим проблемам несколько иначе: «Велико есть дело смертными и преходящими трудами дать бессмертие множеству народа...» (171).

Историограф царя Федора подчеркивал величайшее значение для человека конденсированного в исторических сочинениях опыта прошлого, позволяющего ему даже предвидеть будущее: «...житие наше будучи краткое история научит искусством и случаем иных, прежде бывших, и сице от прешедших дел настоящее познаваем, а будущее разумом изобразует» (XXXVII). Опираясь на «еллинскаго историка Поливия», он полагал, что в исто-

ри мы «яко в зеркале, всякия дела зрим и научаемся чюжими искушениями, и не так словесное учение двигает нас, как история» (XXXVII). Опыт прошлого, по мнению Манкиева, люди видят в истории, «как в чистейшем зеркале»⁷². Елагин также считал, что историческое «повествование есть неложное зеркало каждого людей состояния» (II, 1). Последний русский историограф Н. М. Карамзин не мог удержаться от повторения всего комплекса подобных представлений и образов: «История в некотором смысле, — так начинал он свой многотомный труд, — есть священная книга народов: главная, необходимая, зеркало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правд; завет предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего... Мудрость человеческая имеет нужду в опытах, а жизнь кратковременна» (IX)⁷³.

Паисий Хилендарский, занимавший хронологически среднее место между Михаилом Лосицким и историографом царя Федора, с одной стороны, и Карамзиным — с другой, придерживался однотипных с ними идей, почерпнутых им из русского издания Барония: исторические знания можно приобрести у тех, «иже деяния мира сего писаша и не долго време поживше; никому бо дарова ся много жити, на долгое време писания о сих оставша. Сами собою [умудрите се не можем]: кратки бо есть дни жития нашего на земли. От чтения убо древних летописаний и от чуждаго искусства скудость лет наших ка стяжанию разума наполниты понуждаем ся» (41—42).

Такова была теория историографов, которая обосновывала их постоянное стремление влиять на каждого отдельного читателя, завоевывать его доверие.

* * *

Славянским историографам представлялось — и, очевидно, не без оснований, что их объединяет с читателями многое: вероисповедание, патриотизм, приверженность

⁷² С. Соловьев, с. 4.

⁷³ Н. М. Карамзин. История государства Российскаго, т. I—XII. СПб., 1816—1829, цит. т. I. Почерпнутые Пушкиным очевидно, у Карамзина, эти представления нашли образное воплощение в словах Бориса Годунова: «Учись, мой сын: наука сокращает Нам опыты быстротекущей жизни...» (указ. изд., с. 43).

к национальному историческому преданию. Самосознание автора и читателя не разделялось еще теми признаками индивидуальной рефлексии, которые возобладали в буржуазную эпоху. Возможно, что в области историографии пережитки средневекового мировоззрения держались дольше, чем в некоторых других видах творчества. Традиции церковно-учительной книжности подсказали историографам испытанные приемы общения с читателем.

Историограф считал своим долгом приобщить читателя к своей высокой миссии служения отечественной «истории». Поэтому авторитет исторического сочинения укреплялся традиционными по стилю заявлениями о том, что не только создание такого сочинения и работа над типографским изданием или переписыванием его, но и само его чтение является занятием благочестивым. Так, в заключительном обращении к читателям «Синописа» говорилось: «Богу..., изволившему сию благопотребную книжицу... начати и совершити, да будет честь, слава, поклонение и благодарение: да труждающихся в сем начинани, промысляющих, работающих, исправляющих благословит и в болшем тщание укрепит; чтущим же ю и ползующимся благодать и милость дарует. Аминь» (129 об.)⁷⁴. «Введение краткое» начинало обращение к читателю заголовком: «Читателю благочестивому и благоразумному в госпде радоватися, здравствовати и умудрятися» (1), а заканчивало предисловие словами: «Бог мира и отец щедротам да совершит всякаго благочестиваго читателя во всяком деле блазе творити... Аминь» (5).

Лосицкий выражал пожелания всем тем, «хто схочет прочтати» его труд, «душевного спасения и телесного здравия...» (233). Позже подобного рода заключительные формулы начали приобретать светский характер. Так, Бужинский в конце предисловия к «Феатрону» просил

⁷⁴ Синописис или краткое собрание от различных летописцев о начале Славяно-российскаго народа и первоначальных князех богоспасаемаго града Києва.. В святой... Лавре Києво-Печерской... по благословенію... Иннокентія Гизнеля, милостию божиною архимандрита... изображенное типом. В лето... 1630; цит. по данному гретьему изданию (первое 1674, второе 1678), для которого текст «Синописиса» был пополнен и доработан; см.: С. І. М а с л о в. Етюди з історії стародруків, XI—XII. У Києві, 1928, с. 3—24 (далее; С. І. М а с л о в).

читателя: «А потрудившимся нам в деле сем доброт- ствуй. Мы же взаимно тебе неленастного чтения, истории познания и во всяком словесном учении успеяния душев- наго желаем» (6 об.).

Историографы стремились скрепить свой союз с чита- телями не только пожеланиями им всяческого добра, но и традиционными для старой книжности смиренными прось- бами о снисхождении к самим себе.

Еще Мавро Орбини писал: «А я прошу, благоволите сии мои труды принять во благоугодие, и не предати мѣ осуждению, благоразумнии читатели; аще и погрешил, яко человек, намерение мое не иное, токмо изъяснить потемненное...» (5). Украинский историограф Боболин- ский в «Слове ко любимому читателю всякому», служа- щим предисловием к его «Летописцу» (1699), увещевал читателя: «...чти со всяким прилежанием и разсужде- нием, добро бо есть писмены..., чти здрав уже и мене, писателя, споминай. Не лай, аще обрящеша в ней (в «Кро- нике». — А. Р.) некое погрешение, но моли о мне господа бога, да и ты, и я молитвами твоими спасен буду. Аминь. Твоему благородию, возлюбленный читателю, всех благ желающий Леон Боболинский...» (275)⁷⁵. Величко гово- рил, что если его источники «не истинствуют в писаніях, с ними не істинствую и аз, по писанному: всяк человек лож. Ти же, ласковий чителнику и правди любителю, все тое мне прости, и покрій своєю благодистинею, все- покорственно умоляю, и взаимне тебе от навишшого господа и всех создателя, вѣременних і вечних благ усер- дно всеістинно желателствую...» (4).

Каменевич-Рвовский просил читателя: «...да пожалует помянет с жалостію своєю богопредлюбезною нас...» (38). Много позже, но в таком же духе высказывался Иосиф Троношский: «...и мене прощению сподобляйте, понеже и во писменах ест весма грубо, обаче во словах ест жалостно и умилно...» (20). Спиридон обращался к читателю: «...молю смиренно, аще обрящет погреш- ност в нем (в «Летописце». — А. Р.), или противо праваго писання..., да не хулит, ниже укоряет, понеже не знал я художество писанию...» (1).

⁷⁵ Летопись Леона Боболинского. В кн.: Григорий Гр я б я н к а. Дей твия презельной и от пачала поляков крвавшой небывалой брани Богдана Хмельницкаго... року 1710. Киев, 1854.

Подобная традиция долгое время держалась не только среди историографов-монахов, но и среди светских авторов. «Любезный читателю! — писал инженер-подпоручик князь С. И. Мышецкий (обследовавший Запорожскую Сечь в 1736—1740 гг.), — Что в сей моей Истории хотя и не находится никакого красноречия..., а мой сей малой труд покорно прошу принять за благо..., в чем благонадежен остаюсь, любезным читателям верный слуга» (56) ⁷⁶. Генерал А. Ригельман в «Истории... о донских козаках» писал: «Так же естли есть (в его труде. — А. Р.) что недостающее или излишнее, а иное что и неисправно писанное, во оном униженно прошу благосклоннаго читателя меня, невежду, извинить...» (II) ⁷⁷. Высокомерная Екатерина II, занявшись историографией, признавала: «Сей труд весьма не совершен, но каков есть, много подаст сведений донине малому числу людей известных; дополнить же и исправить легче, нежели собрать из несколько десятков книг» (V, 1). Наконец, сам Карамзин заключал предисловие к своей «Истории» так: «...порукаю себя снисходительности добрых сограждан» (XXVI).

Убеждая читателя в пользе «истории», историограф старался внушить ему, что познание прошлого своего народа — это как бы общее для них обоих дело. Эти новые представления сочетались со старыми традициями летописцев, для которых процесс описания событий, как и процесс самой истории, никогда не завершался и каждый новый анонимный автор или переписчик имел возможность продолжить и исправить изложение своих предшественников. На этой основе у историографов появляются пожелания к читателям, чтобы они не только усвоили их сочинения, но и освободили их от невольных ошибок или даже продолжили.

Мавро Орбини призывал читателей «трудиться сей моей краткой истории пополнению; ибо и высокоученые

⁷⁶ История о козаках запорожских, как оные из древних лет зачались, и откуда свое происхождение имеют, и в каком состоянии ныне находятся. М., 1847; ср. изд. 2-е. Одесса, 1851.

⁷⁷ История или повествование о донских козаках, отколь и когда они начало свое имеют, и в какое время и из каких людей на Дону поселились, какия их были дела и чем прославились и проч., собранная и составленная из многих вернейших российских и иностранных историев, летописей, древних дворцовых записок и из журнала Петра Великого, через труды инженер-генерал-майора и кавалера Александра Ригельмана 1778 года. М., 1846.

историографы, хотя мало своими историями и погрешили; а к надлежащему пополнить, или справить не есть трудно, как есть обычай во Вселенней» (5). С лукавым простодушием признавался Величко читателю: «А так, ласковий чителнику, если покажется тебе в сем деле моем що подзорное и неправедное, то може и так есть. Ти убо, аще достанеши совершеннейших... летописцов, волен естеленост отложить и мое в сем деле невежество благодравне покривши,... от бога ти данным разумом исправити» (4). Мышецкий оставлял свою «историю» «желающим авторам... как наилучше учинить... А ежели в чем имеется погрешение, то исполнить своим добрым разсуждением...» (56). Ригельман просил читателя: «...буде можно пожаловать приложить свой труд поправить, то тем меня, охотнаго слугу своего, одолжить премного изволить» (II). Эмин просил читателей «уведомить» его, если в его сочинении «сыщутся ошибки» (XXVI). Он подчеркивал: отыскав ошибки, читатели «не только меня одолжат..., но и Отечеству зделают великую услугу, стараясь о исправлении того, что для пользы общественной весьма потребно» (XXVII).

Составитель Троицкого летописца Иосиф обращался к читателям в духе старой традиции: «...тем же молю вы, отцы и братия, о погрешении, аще негде обрещети,... исправляйте» (20). Раич особенно горячо убеждал читателя, «дабы искусный, и о Отечестве своем рачительный читатель, имея пред очима оное, любовию когда распалился, еже непощадете труда в проискании древности любезнаго Отечества, и... недоконченное совершити» (31). При этом Раич предоставлял читателю полную свободу распоряжаться его сочинением: у читателя «полна власть будет, с доволними свидетельства исправити оная, и недостатки дополнити. Прочее ползуйся, читателю любезный, трудами сими независтно и сам добрым подвигом подвижайся приумножати дело сие и распространяти. Осталось и тебе широкое историческое поле, облетаи, подражая трудолюбивой пчеле, и собираи мед во улей общества твоего...» (31—32).

* * *

Перед историографом, в отличие от древнего летописца, возникал вопрос о создании национальной читательской аудитории, для которой он и сочинял «историю».

Историографы стремились расширить и, так сказать, демократизировать круг своих читателей.

Леон Боболитский предназначал свой «Летописец» не только читателям в собственном смысле, но и слушателям — «не знающим писмене» (275). Дмитрий Ростовский надеялся, что бог «даст чтущим и внимающим усердие к чтению и вятию» (VIII) его «Летописи». Паисий начинал свое «Предисловие ко хотящим читати и послушати написаная в историйцу сию» с обращения: «Внемлите вы, читатели и слышатели роде болгарски...» (45). Ранч заботился о том, чтобы «чтущий и слышащий» (18) поучался его сочинением.

Лосицкий убеждал читателя распространять его «Кройнику» хотя бы путем простой передачи: «...чителнику ласковий, — писал он, — которую кройнику прочитавши, можешь подати и прочим потребующим...» (233).

Перед историографами, как никогда ранее, встал вопрос о размножении их сочинений, и читатель сохранял для них еще значение потенциального переписчика.

Каменевич-Рвовский надеялся на то, что его «малоумствующа художества» будут «прочитати или писати» (38). Паисий в условиях порабощения Болгарии не мог рассчитывать на публикацию своего труда и просил читателей: «...преписуйте историйцу сию и имейте ю, да се не погуби» (46). Спиридон тоже еще продолжал думать, что «Историю» его будут «читати или преписовати» (1).

Сами историографы первоначально считали себя в ряде случаев скорее переписчиками и составителями историографических трудов, чем авторами их. Таковым, например, был составитель Густынской летописи «зичливый писар тоей Кройники перомонах недостойны Михаил Павлович Лосицкий» (233) или составитель Трношского летописца, «юже преписах аз, Иосиф трношац» (20), хотя их вмешательство в тексты используемых источников во многом носило авторский характер⁷⁸. Спиридон ставил себе в заслугу не только авторство, но и переписку своей «Истории»: «...сочинися и списася в лето 1792 Спиридоном...» (1).

⁷⁸ М. Лосицкий в научной литературе иногда называется «автором Густынской летописи»: А. М. Рагозинский. «Кройника» Феодосия Софоновича и ее отношение к «Киевскому Синопису» Иннокентия Гизеля. — Известия Отделения русского языка и словесности имп. Академии наук, СПб., 1910, т. XV, кн. 4, с. 279.

Уже в XVII в. русские историографы начали указывать на необходимость типографского издания исторических сочинений. Историограф царя Федора утверждал, что у всех народов есть «книги и истории своего государства, и начала и предки их», причем, — и это было главным, — эти книги «в типографии преданы», только московские историографы своей истории еще «не сложили и не издано типографски по обычаю» (XLII). Но историография переживала еще долгое время свой переходный период как по содержанию, так и по технике распространения: до XIX в. рукописные «истории» чередовались с типографскими изданиями. Более четверти века спустя после трехкратного издания «Синописа» Дмитрий Ростовский писал (1709), что он и не рассчитывал свой «убогий» летописный труд «еже бы типом в мире издати», хотя надеялся, что он «в иных книгочитателей в руки внидет» (VII). Эта книга, действительно, распространилась в сотнях списков до своего первого издания в 1784 г.⁷⁹

Желая укрепить значение своей рукописной книги, Каменевич-Рвовский подчеркивал, что он собирал для нее сведения из «письменных (т. е. рукописных. — А. Р.) и тисненых типографских книг» (25). Паисий говорил о своих источниках так же: он читал «истории рукописны и печатны» (50), изданные на Украине и в России. Повествуя о временах, непосредственно предшествовавших турецкому завоеванию (XV в.), Паисий возвышал значение болгарской книжности: «И были почели в то время болгары да щанпают книги болгарски, и неколико книги были изшли на щанпа в то время... В то время не были члвецы хитри на то дело, но просто извадили и слова и речи» (118). Паисий приводит к этому параллель из истории украинской книжности: «Тако и руси исперво не били искусни и просто щанпали книги, но ныне разумели и поукасили и известили, и речи по граматика и слова писмена лепо наредили и украсили» (118). Паисий мечтал о распространении в Болгарии книг подобно тому, как это делают «руси и москали», которые имеют свое «царство», «свободу церковную», «школы» и поэтому «возможно им ест и щанпают славенски книги» (139).

⁷⁹ См. И. А. Шляпкии. Св. Дмитрий Ростовский и его время (1651—1709 г.). СПб., 1891, с. 430 (далее: И. А. Шляпкии).

Это замечание Паисия было справедливым. Однако несмотря на то, что на Украине и в России в XVIII в. было уже немало историографических изданий, любовь читателей к ним была столь велика, что они и после публикации переписывались от руки. Киевский «Синописис», многократно переиздаваемый, расходился также в большом числе списков, которые делались вплоть до середины XIX в.⁸⁰ Историограф царя Федора одним из первых искал «в летописце скращеном печатном» (18 об.), т. е. в «Синописисе», и подробно воспроизводил сведения о происхождении славянских народов⁸¹. «Краткой российской летописец» Ломоносова после его публикации (1760) неоднократно переписывался от руки⁸².

Относительно книги «Ядро Российской истории» издатель ее Г.-Ф. Миллер в предисловии писал, что она «любителям истории своего отечества давно известна. Частые с нея взятые и во многих книгохранилищах находящиеся списки о том свидетельствуют» (2)⁸³. Публикуя «Скифскую историю» Лызлова, Н. Новиков критически подходил к наличию рукописного материала: «Что же касается до издания сей книги, что учинено оное с наилучшего списка из всех тех, которые я имел...» (1)⁸⁴. Укра-

⁸⁰ См. А. С. Лаппо-Данилевский, с. 25—26.

⁸¹ О влиянии «Синописиса» на рукописную литературу см.: С. Шамбинаго. Повести о Мамаевом побоище. СПб., 1906, с. 370—373; его же. Сказание о Мамаевом побоище. СПб., 1907, с. 7, 108.

⁸² См. М. В. Ломоносов. Полное собрание сочинений, т. VI. М.—Л., 1952, Примечания, с. 588.

⁸³ Ядро Российской истории, сочиненное ближним стольником и бывшим в Швеции резидентом князь Андреем Яковлевичем Хилковым, в пользу российского юношества и для всех, о российской истории краткое понятие иметь желающих, М., 1770; издатель ошибочно приписал Хилкову это сочинение, написанное А. И. Мацкиевым в 1715 г.

⁸⁴ Скифская история, содержащая в себе: О названии Скифии и границах ее; О народах Скифских... от разных иностранных историков, паче же от Российских верных историй и повестей, от Андрея Лызлова прилежными трудами сложена и написана лета 1692; а ныне во свет издана Николаем Новиковым, ч. 1. СПб., 1776; см. о Лызлове: Н. Л. Рубинштейн. Историческое знание феодальной Руси.— Курс лекций по истории СССР, лекция 18, М., 1945, с. 17—18; М. Н. Сперанский. Из истории русско-славянских литературных связей. М., 1960, с. 211—224; Е. В. Чистякова. Русский историк А. И. Лызлов и его книга «Скифская история». — Вестник истории мировой культуры, январь-февраль 1961, 1(25), с. 117—127.

инская «История русов» с конца XVIII в. до времени своего издания (1846) «была уже в ходу во многих списках, которые — подобно «Горю от ума» — распространялись все больше и больше...»⁸⁵.

«История» Паисия продолжала переписываться и после ее издания (переработки) в 1844 г. вплоть до 1882 г.⁸⁶

Любопытно отметить, что переходный период в техническом размножении историографических сочинений (от рукописи к изданию) сказался и на характере первых типографских опытов в этой области.

Типограф XVII — начала XVIII в., подобно древнему переписчику, почитался ближайшим помощником автора, и труд его, как и труд писателя, требовал уважительного отношения к себе со стороны читателя книги. Поэтому в конце издания «Синописа» помещалось обращение «К читателю сего летописца от типографов», в котором типографы простодушно выражали свои восторг по поводу удавшегося труда и, подобно авторам, просили у читателя снисхождения к себе:

Изволившему богу помощ свою дати,
О бы книжица сия изшла в мир з печати.

.....
Аще же и грех яков знайдется в сем деле,
Разум каков, сам веси, в немощном есть теле.
Мудрость дарова ти бог зло и добро знати,
А любовию грехи како покрывати.
Широтою зде словес тебя не стужаем,
Есмы ли скудоумны, умну ся смиряем... (129).

Если «Синописис», напечатанный «по благословению» киево-печерского архимандрита Иннокентия Гизеля, оставался, по существу, сочинением анонимным, то в полном тексте приведенного акростиха сообщалось уже имя его типографа — «Иоан Армашенко»⁸⁷.

⁸⁵ М. М а к с и м о в и ч. Исторические письма о казаках приднепровских к М. В. Юзефовичу. Письмо IV. — Киевлянин. Литературно-политическая газета Югозападного края. Киев, 1865, 25 февраля, № 24, с. 93.

⁸⁶ См. М а н њ о С т о я н о в. Преписи на Паисевата «История славянобългарска», Сборник, с. 588—596.

⁸⁷ См. С. I. М а с л о в, с. 8.

Как мы уже видели, историографы нередко просили читателей исправить их сочинения. С такой же просьбой в пределах своих интересов обращались к читателю и типографы. Составитель «Введения краткого», печатавшегося в Амстердаме голландскими типографами, молил читателя не придавать значения их ошибкам: «...понеже и литеры еще не исправные, суть и печатники в деле, яко не умеющие языка славянороссийскаго, молимся православный читателю, егда вникнув в сию книгу.... обрящещи явственное поползновение во имених или речениях, да никакоже усумнишася о сем, мня, яко не изрядно презрена сия книга и издапа есть» (2). В конце русского издания «Феатрона», после списка исправленных опечаток, говорится: «Сия zde исправилася погрешения типографская, яже усмотришася, кая же кроме сих обрящутся, та благоразумный читатель сам да благоволит исправить, снисходя немощной и удобопогрешительной в деле типографском труждающихся силе»⁸⁸.

⁸⁸ Здесь в книге «Феатрон» пагинации нет.

ИСТОРИОГРАФ И ИСТОРИОГРАФИЯ

Высокое назначение «истории» как «учительницы жизни» заставило историографов серьезно заняться построением своих сочинений. Традиции летописания вызвали у них в этом отношении глубокую неудовлетворенность.

Несмотря на наличие богатейшего летописного и хронографического наследия, историограф царя Федора утверждал, что «народ российский» до сего времени «лишен был учения исторического, також, что преж сего о своих предках и народов, хотя и розные повести и летописцы словенским языком написали, однакож несовершенным описанием и не по обычаю историческому...» (XLI). Столь же неодобрительно отнесся к летописанию составитель «Введения краткого», который писал: «Летописание зовутся книги по церковному, в них же, кроме всякия красоты и сладословия, и без снабдения вины (т. е. без выяснения причин событий.— А. Р.) всякаго лета деяния пишутся» (6).

В чем же состоял новый «обычай исторический»?

Перед историографами возникла задача нового осмысления и обобщения всей истории своего народа, а не продолжения ее на традиционных основах национального летописания или на повествовательно-правоучительных основаниях пространных «всемирных» обзоров-хронографов⁸⁹. Историография целиком ставилась на службу современности.

Феодосий Софонович определял свою задачу так: «... а бым ведал сам и иным руским сыном сказал,

⁸⁹ Об отличиях хронографов от летописей см. Д. С. Лихачев. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.—Л., 1947, с. 331—354 (далее: Д. С. Лихачев).

отколь Русь почалася и як панство руское, з початку ставши, до сего часу идет» (1). По Паисию историю следовало начинать «пспервая времена рода нашего» (147). Раич собирался описать «приключення рода своего от самого начала до нынешних времен» (13).

Историкографические сочинения, в отличие от летописей и хронографов, начали ориентироваться на «простых» читателей и на юношество. Опираясь на текст предисловия к сочинениям Барония, Паисий видел воспитательно-патриотическое значение историкографии в том, чтобы сообщать исторические знания «младым детям и препростим человеком» (41). Учебные цели исторического сочинения осознавались все более ясно. На Украине Лосцикий советовал передавать его хронике «для уведомления и прочим требующим юнейшим...» (233). В России «Введение краткое» издавалось «ко... всяких паук познанию благородным юношам славянороссийскаго народа» (4). Переводя «Феатрон» Стратемана, Бужинский писал, что этот труд «не что иное есть, токмо наставление во истории юным» (1 об.). «Сии записки касательно российской истории, — писала Екатерина II, — сочинены для юношества...» (I, 1).

Подобные воспитательные, в том числе и учебные, установки историкографии требовали в первую очередь того, чтобы хронологически всеобъемлющее сочинение (от «начала» и «до сего часу») было изложено кратко. Всю историю своего народа необходимо было, как писал историкограф царя Федора, объединить «во единой исторической книге... по обычаю историкографов» (XII). Такая книга, которую можно было бы охватить как бы единым взглядом, получила выразительное определение во «Введении кратком»: «Сынописис историчная есть всея истории краткое и изясное, аки вкупе ко узрению зраку, предложенное описание...» (10).

Сочетание этих двух важнейших условий (всеобъемлющий охват и краткость изложения) нередко декларировалось в самом заглавии подобной книги. Таковым было заглавие киевского «Сынописиса»: «Сынописис или краткое собрание от Различных Летописцев о Начале Славяно-Российскаго Народа и Первоначальных Князех Богоспаемаго града Клева, о Житии Святаго Благовернаго Великаго Князя Киевскаго и Всея Росии Первейшаго Самодержца Владимира и о Наследниках Благочести-

вья Державы его Російских даже до Пресветлаго и Благочестиваго Государя Царя и Великаго князя Феодора Алексеевича Всея Великия, и Малыя, и Белья России Самодержца».

Дмитрий Ростовский назвал свое сочинение по такому же типу: «Летопись..., сказующая вкратце деяния от начала миробытия...», а в предисловии добавлял, что он собрал исторические сведения «в едину сию книжицу вкратце» (VIII). Еще ранее Федор Грибоедов (1669) озаглавил свою книжку так: «История, сиречь повесть или сказание вкратце...». А у Мавро Орбини книга имела подзаголовок: «Краткое собрание историческое народа славянского, его славы и расширения» (1).

Ломоносов задумал свой труд в таком же духе: «Древняя Российская история от начала российскаго народа...», но успел довести его только до кончины Ярослава Первого. Затем он издал «Краткой российской летописец с родословием» (1760), за которым последовал ряд исторических пособий подобного рода⁹⁰. А. Ригельман тоже писал «Историю» о донских казаках «отколь и когда они начало свое имеют...»

Такие же тенденции прослеживаются в историографии Украины XVIII в. В самом заглавии своего сочинения Величко указывал, что оно было «вкратце стилем гісторичнім и наречіем малоросійским справленне...» (1). С. И. Мышецкий назвал свой труд — «История о козаках запорожских, как оные из древних лет зачалися, и откуда свое происхождение имеют, и в каком состоянии ныне находятся» (1740). Петр Симоновский озаглавил свое сочинение — «Краткое описание о козацком малоросійскомъ народе...»⁹¹; существует также «Краткое истори-

⁹⁰ См. [Х. Х. Б е з а к]. Краткое введение в бытописание Всероссийской империи. СПб., 1785; [М. М. Щ е р б а т о в]. Краткое историческое повествование о начале родов князей российских, происходящих от великого князя Рюрика, М., 1785; Краткое историческое известие о Киеве. Киев, 1791; Краткое начертание российской истории, служащее руководством к обстоятельному познанию древних и новых происшествий сего государства. Изданное для пользы и удовольствия младых россиян... Калуга, 1794.

⁹¹ Краткое описание о козацком малоросійскомъ народе и военных его делах, собранное из разных историй иностранных, немецкой — Бишенга, латинской — Безольди, французской — Шевалье и рукописей русских, чрез Бунчукового Товарища Петра Симоновского, 1765 года. М., 1847.

ческое описание о Малой России»⁹².

Пансий настойчиво подчеркивал обобщенно-сокращенный характер своего изложения: «Собрание в кратце...» (126), «Собрание в кратце имена стых болгарских...» (142), «Зри деяния их, читателю,..., что zde во кратце написахом» (59), «То, читателю, в кратце рече се...» (110), «Зде рече се в кратце...» (121), «Во кратце написах zde, колико совокупили их вси въкупе в сию историю краткою, да знают вси болгарн...» (157). В соответствии с этим же тенденциями «Зографская история» (по списку 1785 г.) получает заглавие: «История вкратце о болгаро-славенском народе»⁹³. Спиридон называет свое сочинение «История во кратце о болгарском народе словенском». Карловецкий родослов называется — «Исторна в кратце о сръбских царей»⁹⁴.

Иногда в сообщениях историографов о краткости их труда чувствуется традиционное выражение скромности авторов, как бы не претендующих на возможность полного описания славной истории своего народа. Так, Йован Раич заявляет о своем стремлении сербский народ «исторически описать в кратце» (13), хотя и создает при этом четыре больших тома.

Создание обобщенно-сокращенных исторических обзоров сопровождалось у историографов пересмотром всей структуры исторического повествования. Старый погодно-хронологический принцип летописания преподносил читателю отобранные летописцем сведения как бы в форме непосредственного течения исторического процесса, а не в форме их единого (от «начала» и до современности) нравственно-политического обобщения. Принцип летописания разрывал связи между событиями и произвольно перемежал значительные и второстепенные сообщения. В отличие от этого, хронографы, а отчасти и «степенные

⁹² Краткое историческое описание о Малой России до 1765 года с Дополнением о Запорожских Козаках и Приложениями, собранное из летописей, польского и малороссийского журнала или записок генерала Гордона, Стралецберга, шведского историка, из жизнеописания о государе Петре Великом архиепископом Феофаном Прокоповичем и греком Антонием Катифором, фамильных записок и публичных указов, 1789. М., 1848.

⁹³ Йордан И в а н о в. Български старини из Македония. София, 1931, с. 630—642.

⁹⁴ Пансий Х и л е п д а р с к и. История славеноболгарская... София, 1961, с. 186.

книги», разбивали историческое изложение по обстоятельным описаниям отдельных царствований или группировали материал по различным сюжетам (агиографическим, новеллистическим и др.), приобретавшим в общем плане сочинения в известной мере самостоятельное значение, в результате чего развивалась общая назидательная тенденция труда, но его повествовательного единства еще не возникало. «Для летописца, — как пишет Д. С. Лихачев, — самое важное заключалось в исторической правде. Летописец ценил документальность своих записей, он бережно сохранял записи своих предшественников, он был историком по преимуществу. Составитель Хронографа был, наоборот, литератором. Его интересовал не исторический, а назидательный смысл событий, ... он заботился о риторической приподнятости стиля»⁹⁵. Оба эти принципа в их чистом виде были неприемлемыми для историографов и самим историографам казалось, что они полностью отвергают старые традиции всяких исторических сочинений. Но в действительности они многое заимствовали из этих традиций и строили свои сочинения в значительной мере на основе компромиссного использования летописного и хронографического наследия.

Историографы, как и летописцы, сосредоточивали все свое внимание на тех материалах и темах, которые относились к национальной истории собственного народа. Они собирали и излагали по преимуществу именно эти материалы, но круг их разысканий намного расширился и вышел далеко за пределы национальной исторической традиции. Историографы, как и составители хронографов, предпочитали назидательное освещение истории и риторическое ее изложение. Но они придали этой назидательности конкретный общественно-политический характер и подчинили свои литературные приемы практическим учебно-воспитательным целям.

В сочинениях историографов погодная структура летописания вытеснялась хронологическим чередованием уже не годовых, а более крупных сюжетно-тематических единиц изложения. Эти сюжетно-тематические повествовательные единицы (главы, разделы) напоминают хронографические принципы повествования по «царствованиям» или по «жизням», но они становятся в сочинениях

⁹⁵ Д. С. Лихачев, с. 346.

историографов гораздо более краткими и конкретными, а главное — значительно более взаимосвязанными и в большей мере подчиненными общим идеям и задачам сочинения. Принятая структура повествования позволяла историографам группировать, обобщать и оценивать исторические сведения о своем народе на определенной и единой идейно-тематической и жанровой основе. Эта структура ясно обозначается в оглавлении «Синописа»: «О начале древняго славянскаго народа», «О имени и о языке славенском», «О преславном, верховном и всего народа российского главном граде Киеве и о начале его» и т. п. У Паисия наблюдается почти такой же принцип построения материала: «Предисловие ко хотящим читати и послушати написаная в историйцу сию», «Собрание историческое о народе и о царе болгарстем», «Собрание въкратце, колико были знаменити крали и цари болгарских» и т. п.

При изложении историографами менее значительных обстоятельств отечественной истории материал группируется по отдельным и сравнительно кратко излагаемым княжениям или царствованиям. Например, в «Синописе»: «О княжении Всеволода Ярославича в Киеве» (55 об.), «О княжении в Киеве Михаила Святополка Изяславича» (56) и т. п. В этих случаях изложение сохраняет свойственный еще летописи и развитый «степенными книгами» характер хронологически-династической преемственности: «По преставлении благовернаго князя Глеба седе на престоле Киевском Роман, князь Смоленский...» (67), «Благоверный князь Владимир Мономах по преставлении благочестиваго князя Михаила Святополка...» (57) и т. п. Такой же принцип изложения материала в подобных случаях наблюдается у Паисия: «Умершу Круну, по него настал на црство брат его Муртагон» (74), «По преставлении цря Михаила настал по нем на црство сн его Симеон Лабас» (78) и т. п.

Эти общие приемы построения историографических обзоров не только применялись историографами в их практике, но и были теоретически оценены ими. Так, Гавриил Бужинский высоко оценил структурную четкость «Феатрона», автор которого излагает историю «кратко, разделно, ясно» (1 об.). Еще ранее историограф царя Федора обстоятельно разъяснял, что он считает необходимым «для лучшего выразумления» вести повествование «от начала..., се есть от родословия московскаго и рос-

сийского начальников, и вся повести и история по главам, как пристойно для лучшей ясности, разделены будут...» (XLII). Новый принцип повествования сказывается у этого историографа и в его стремлении к тематической группировке материала, «чтобы всякое дело на своем месте написано было, где доведется, и пристойно расположено» (XXXIX). Материал следует располагать хронологически и тематически: «...по času и по веком до сих времен, и по обычаю историков всякия дела припоминати, елико божественное, и елика гражданския, посольския и воинския...» (XLI—XLII). Заботу о построении своего труда проявляет и Величко, когда он высказывает намерение «частми и розделами расположити историю» (3). Расположение материала по «главам» и «разделам» вполне соответствовало новым задачам создания «единой» и «краткой» исторической книги.

* * *

Принципы работы историографов с источниками в значительной мере определялись их пониманием исторической достоверности, к которой они проявляют острый интерес. Они упорно собирают и сопоставляют всевозможные летописные, документальные, историографические, мемуарные, повествовательно-легендарные сведения. Они начинают указывать на противоречия в своих источниках, а иногда и вступают в полемику со своими предшественниками. Однако представление об объективности исторического факта у историографов еще не созрело и легко восполнялось подбором желательных «свидетельств» — версий, оставленных их предшественниками, а также созданием новых версий, иногда со ссылками на несуществовавшие источники.

В таком подходе к источникам славянские историографы следовали общим принципам гуманистической историографии. «У писателя-гуманиста (речь идет об историографах итальянского Ренессанса. — А. Р.) отношение к источнику определялось в значительной мере политической задачей: разоблачая один исторический фальсификат, он иногда сам создавал другой»⁹⁶. По мнению Карамзина, не лишенному оснований, Татищев был

⁹⁶ Н. Л. Рубинштейн. Русская историография. М., 1941, с. 58.

историком, «не редко дозволявшем себе *изобретать* древния предания и рукописи»⁹⁷. Самуил Величко «сам був автором фальсифікату — діяріушу Самуїл Зорки»⁹⁸.

Новый подход историографов к источникам долгое время тормозился авторитарностью их общих представлений, которая к тому же приобретала у них национально-историческую направленность. Наибольшим уважением у историографов стали пользоваться именно те исторические (или псевдо-исторические) версии, которые опирались на народные предания, а не на собственные взгляды того или иного автора.

Историограф царя Федора предупреждал своих братьев по перу, что не следует верить тем их предшественникам, которые «только слухом или своим мнением пишут» (XL). Напротив, доверия заслуживает только то, что взаимно «согласуется, и всенародными повестьми, и где, по обычаю того народа, изстари верою подтвердилось...» (XL). Значительно позже, но по существу почти то же самое, писал Эмин: «Все наши о древности писания доказательств не имеют, но должно верить тем, которые нам разных времен действия писанием своим предали» (XVI).

Разыскивая недостающие в письменных источниках сведения, историографы иногда сообщали о своей опоре и на устное народное предание. Так, А. Ригельман, составляя историю «о донских козаках», добавил к ней материала «и словеснаго, и то, кто что от предков своих и стариков слышал, ... должен был принять за справедливое, потому более, что они между собой весьма сходно о себе рассказывают» (I).

Историографы нередко старались подчеркнуть авторитарные основы своих сочинений. Дмитрий Ростовский заявлял о том, что писал он «не яко нарочно от своего ума, но яко от многих книг изряднейшая в научение себе собираяй» (VII). Автор «Повести известной», говоря о библейском происхождении славян, заверял читателя, что он «утверждает это «не от себе же, но тщательнии и премудрин древнии летописатели и кроникаре свителствуют»

⁹⁷ Н. М. Карамзин. История государства Российского, т. XII. СПб., 1829, Примечания, с. 56.

⁹⁸ М. Петровський. Псевдо-діяріуш Самійла Зорки. — Записки історично-філологічного відділу, Всеукраїнська Академія наук, у Києві, 1928, кн. XVII, с. 188.

(370, см. пр. 178^a). Количество собранных «свидетельств» заслоняло историографам вопрос об их качестве. Обилие привлеченных источников, хотя бы и совершенно разнотипных по своему происхождению, содержанию и идеологической направленности, выдвигалось ими как особая заслуга, которая демонстрировалась в самих заглавиях их сочинений. Например, к заглавию «Книга историография» у Мавро Орбини добавлялось «...собрана из многих книг исторических...». По этому же типу строилось заглавие сочинения Дмитрия Ростовского: «Летопись..., собранная из божественных писаний, из различных хронографов и историков греческих, славянских, римских, польских, еврейских и иных...» Такой же принцип декларировался в заглавии светского исторического сочинения: «Скифская история, ... от разных иностранных историков, паче же от российских верных историй и повестей, от Андрея Лызлова прилежными труды сложена...».

Леон Боболинский составил свой «Летописец» «з розных авторов и гисторыков многих» (274). Феодосий Софонович признавался: «Що теды з розных летописцов руских и кройник полских вычиталем, тое пишу» (1 об.). Каменевич-Рвовский писал: «Еже от древних слышах, и се в память по нас изоставшим родом всем и восписах» (39). Спустя столетие Ригельман озаглавил свой труд по такому же типу⁹⁹, а в предисловии писал: «А прочее повествование... все выбрано из достовернейших российских записок, летописей и историй, ... а иное от слова до слова писано...» (II). Его задача была в том, чтобы «выбрать из разных летописей» необходимое и «соединить все дела войска сего козацкого...» (I).

Пансий разъяснял читателю, что собиране им различных источников вызывается прежде всего национально-патриотическими побуждениями: он стремился «собрати от различных книг и историй, дождеже собрах и совокупих деяния рода болгарскаго» (46), он трудился, собирая «от много книги и истории» (157).

⁹⁹ История или повествование о донских козаках, отколь и когда они начало свое имеют, и в какое время и из каких людей на Дону поселились, какия их были дела и чем прославились и проч., собранная и составленная из многих вернейших российских и иностранных историй, летописей, древних дворцовых записок и из журнала Петра Великого, через труды инженер-генерал-майора и кавалера Александра Ригельмана 1778 года. М., 1846.

Помимо необходимости укрепления авторитарных основ своих сочинений, историографы видели вполне реальное основание для своей компилятивной методики еще и в том, что многие старинные, а также иностранные, исторические сочинения были недоступны широкому кругу их читателей, чем и вызывалась необходимость их объединения. Гавриил Бужинский в предисловии к «Феатрону» отмечал: «Неудобь преплываемый есть Окиан историй, ниже всяк всех книг изобилне имети может...» (5 об.). Пандий писал, что иностранцы создали «многи книги и истории», в которых говорится и о болгарях, «но не может всяк человек имети они книги и читати и помнити. Того ради расудих и совокупих вся заедино» (50). Величко говорил, что труды иностранных «гисториков» не только витлумачити и на козацкий язык перевести трудно, але и достати в Малой России невозможно...» (2).

Забота историографов о достоверности их повествования требовала прежде всего поисков необходимых для этого убедительных «свидетельств». Автор «Повести известной со свидетельствы многих историков» писал: «Тщание и попечение усердное имея, любезный читатель, дабы с праведным показал свидетелством вежество о народе нашем...» (366). Он намеревался сообщить сведения о том, «како и коим намерением» славенорусский народ «от Ноя, праотца нашего, прозидоша», а потом «возвеличашася» (366). Задачу свою автор видел не в том, чтобы как-либо проверить эту генеалогию или усумниться в ней, а именно в том, чтобы подтвердить ее при помощи подбора авторитетных для современников источников: «Зело от правых и ятоверных историй и писания святого покажу, и понеже даде ми ся слово, потребно сей повести начало, насобно же народа нашего и языка славено-русского порядною енеалогиею; поелика сила и разум возможет, описание со свидетельствы истинных историков предложити, да же на основании твердем удобе возмогут строитися и утвержатися деяния руских и литовских народов...» (366—366 об.).

Каменевич-Рвовский, составляя свою (вполне фантастическую для нас) «историю», был убежден, что делает свою работу «свидетельства ради праваго» (25). Он сообщал читателю, что черпает сведения «от летописаний историчных и краичных (хроникальных.— А. Р.), иностранных, еллиногречких и греколатинских..., и от киева-

печерских, и от своеобразных славянских, хронологических...» (25). Величко отмечал, что «любопытному человеку», задумавшему описать историю своей страны, нельзя начинать свой труд «без свидетельств и описаний летописных» (2). Историограф царя Федора писал, что «историю» свою нужно собирать «из добрых и достоверных прежних историйках...» (XXXIX).

Пансий, рассказывая о славном прошлом болгар, подтверждал: «И на то имеют болгары от много истории свидетельство» (47), о болгарях «у всяки истории свидетельствуют» (110). Ранч работал над историей Сербии, «у достоверных аукторов поискав свидетельств...» (13).

Содержание исторического повествования составлялось преимущественно путем подбора необходимых «свидетельств» и поэтому основным методом обработки источников для историографов стал метод компилятивно-иллюстративный.

Поясняя характер своей работы, Пансий писал: «От того Маврубера (Мавро Орбини.— *A. P.*) и от многия други истории собрах по прилику и пораспространен и совокупих сию историю» (50). Величко описывал свой аналогичный метод работы несколько подробнее. Он пояснял, что обращается и к польской печатной стихотворной хронике Самуила Твардовского «Война Домова»¹⁰⁰, к петербургскому изданию книги Самуила Пуффендорфа и к «диаришу» Самуила Зорки (секретаря Богдана Хмельницкого), который, по-видимому, никогда вовсе не существовал. Однако, «в летописных описаниях усмотревши несогласие», Величко заявлял, что он не знает «совершенно кто з тих историков истинствует, а хто от правды разнится» (3). Как же быть? Величко поступал просто: «...разве чого в Твардовском не ставало, тое у Зорки и інших летописцев и записок козацких доложили, а чого в Зорки не обрелось, тое з Твардовского дополнили» (4).

Но подбор и компиляция всех подобных «свидетельств» (исторических и псевдоисторических) не могли удовлетворить историографов, которые стремились еще и к поучению читателей. В предисловии к своей «Летописи», носившей в значительной мере церковно-учительный характер, Дмитрий Ростовский предупреждает, что он «меж дея-

¹⁰⁰ *Wonja domova z Kozaky, Tatory, Moskva, potom Szwedami i z Węry (1648—1660)*, издано в Калеше, 1681.

ниями» помещает «ово толковательная, ово рассмотрительная, ово правоучительная духовная беседования» (VIII). Посылая Стефану Яворскому «начаток» своей «Летописи», Дмитрий писал ему о своем беспокойстве за успех сочинения: «Мню же мало кому поправится тая моя *lucubratiа*, понеже в нем, как в сбитню руском, мешанина: и история, и будто толкованийце некое из Корнелия (*Cornelius a Lapide*) и других книг,... инде и правоученийце...»¹⁰¹. Эта авторская квалификация историографии как «мешанины», равно как и стиль речи самого Дмитрия, построенной на смешении элементов церковнославянского, русского, украинского, польского и латинского языков, как нельзя лучше характеризовала приемы работы славянских историографов вообще. В том же письме Дмитрий Ростовский писал о себе и о своем труде: «Вем же в книгописательстве *aliud historicum esse, aliud interpretem, aliud правоучителем*. Однако же я, грешный, все то *żgmatwał jak grach z kapustu*, желая иметь книжицу оную, яко *notata u fragmenta*, же было что часом для казаня...»¹⁰². В своей «Летописи» Дмитрий характеризовал компилятивный метод своей работы по существу точно так же, но в противоположном стиле: пронию его писем сменила традиционная торжественность: «...якоже кто злато, и серебро, и жемчуг... в един ковчежец влагает, в едину сию книжицу... вложих, елико собрати возмогах...» (VIII). Подобная торжественная риторика была любимым средством историографов для оценки исторических сочинений. В предисловии к «Феатрону» Гавриил Бужинский писал, обращаясь к читателю: «...и вся, иже в превеликих вертоградах плоды и в пространнейших полях исторических цветы снискуются, аки во един зде снопок связанная воспримеш...» (5). Подражая пчеле, Раич «облетел широкая византических, латинских, далматских и унгарских историографов поля, и насобрав сок разноличных цветов исторических..., в книгу, зде предлагаемую, аки во улей, совокунил и слил» (13—14).

Однако компилятивно-иллюстративный метод работы историографов далеко не всегда сулил им такие идиллические радости спокойного труда. Этот метод был чреват неизбежными идеологическими столкновениями.

¹⁰¹ И. А. Шляпкин, с. 420.

¹⁰² Там же, с. 420—421.

Составление книг, охватывающих историю того или иного славянского народа от «начала» и до современности, заставляло историографов обращаться к источникам не только национальным, но и иностранным. Глубоко убежденные в том, что славяне славились своими подвигами еще до Троянской войны, а потом покоряли Рим и т. п., историографы прежде всего наталкивались на вполне очевидное отсутствие славянских летописаний об этих временах. Это обстоятельство требовало объяснения и даже оправдания перед читателем.

Народы древности, как отмечал Мавро Орбини, имели многих «великопочтенных» и «великоученных» историографов, которые «прославили» дела иудеев, греков, римлян и др. «Народ же славянский,— писал он,— во древних временах бывши оскужен людьми учеными, и пзначала старался непрестанно воевати и чинити дела достойные вечной славе оружием, а не пекся нимало о том, чтоб кто описывал поступки их...» (3). Но Орбини подчеркивал, что «ежели бы сей народ так достаточен был людьми учеными и книжными, как был доволен военными..., то б ни единый другой народ во вселенной был в пример имени славянскому» (1). Историограф царя Федора также писал, что «народ российский изстари наипаче склонен был к воинским делам и оружием, нежели к свободным учениям, и для того лишен был учения исторического...» (XLI). Он сетовал на то, что «многия бо повести, яже безсмертнем дела человеческия украшают, полские, литовские, русские и иных народов, скудости ради людей разумных погибоша...» (7 об.) Феодосий Софонович придал подобным мыслям яркий фольклорно-казачий колорит: «Далших князей (т. е. князей древнее Кня. — А. Р.) не описуют гистории руския, бо Русь шаблею, а не пером бавячися, и писать не знаючи по паперу, толко по головах, албо по хребтах, и где прилучилось шаблями пишучи, не описали своих старовечных княжат имен» (4)¹⁰³.

¹⁰³ Эти иронические образы напоминают фольклорно-литературную традицию: Князь С. Р. Пожарский в песне говорит крымскому хану: «Кабы мне сабелька вострая: Послужил бы тебе верою На твоей буйшой голове...»; в Сказании о Мамаевом побоище русский посол Захария говорит Мамаю: «...а служити аз тебе, царю, рад своим мечем над твоею головою» (см.: А. Н. Р о б и н с о н).

Как бы перекликаясь с Мавро Орбини, Ломоносов убеждал читателей: «...всяк, кто увидит в российских преданиях равныя дела и героев греческим и римским подобных, унижать нас пред оными причины иметь не будет; но только вину полагать должен на бывшей наш недостаток в искусстве, каковым греческие и латинские писатели своих героев в полной славе предали вечности» (3).

Состояние отечественных исторических сведений во времена не столь отдаленные также нередко вызывало неудовлетворенность историографов. Осуждая самого себя, Величко писал, что ему приходилось следовать «ленивим давним писаром, славные и великие дела воевождов своих, во времена их отправовавшіеся, в небрежении без описания оставшим...» (2). Он жаловался на «писарей славянокозацких», которые если уж и записывали «деяния» казаков, то «тилко для себе реестриком барзо щуплими и краткимп слави» (2). С. Мышецкий в своей «Истории о козаках» пояснял, что хотя «оной народ» существовал «издревле», но сведений «начатия своего» не имеет, «понеже при их войске... никаких письменных дел и записок... не имеется, того ради, яко прост народ...» (1).

Паисий тоже выражал недовольство своими предшественниками: «...болгари от простота и нерадением не внимали исперво собирати и преписовати жития стых болгарских...» (156). О некоторых из них сообщалось «...едва во кратце по различни истории щанпани и рукописни по мало и редко» (156). Паисий считал, что одной из причин гибели старых болгарских летописей было то, что люди «от небрежения не преписували» их (49).

Спиридон ссылался на трудности описания древней истории славян: «... о нашем славеноболгарском народе зело трудно пзыскати истину и обрести корен рода их, от кого племя влекут: и не толико болгаров, но и всему роду славенскому, понеже они и(с) древних времен по своему языку писание не имели, и обретаем от чуждо языков писание, сиречь — от чуждых летописов..» (1).

Итак обращение к иностранным источникам становилось неизбежным. По мнению историографа царя Федора,

с о н. Из наблюдений над стилем Поэтической повести об Азове.— Ученые записки МГУ, вып. 118, Труды кафедры русской литературы, кн. 2. М., 1946, с. 60).

для создания русской истории нужно было собирать сведения «изо всех историков древних и новых, не токмо словенских и русских летописцев, но и еллинских, и латинских, и польских...» (XLI). Величко писал: «Аще ж что оним предком нашим козакоруским похвали годного и обрестися может, то не в наших ленивых, але иностранных, греческих, латинских, немецких и полских историографях» (2). Автор предисловия к «Истории русов» приглашал читателя «заглянуть в истории греческия, римския и другия иностранныя» (III), чтобы из них убедиться в «мужестве и предприимчивости народа русского...» (III).

Паисий сообщал читателям о своих источниках: «...обретох история Маврубирова за болгарски цри и сербски...» (157); «И некая кратка история некой Маврубур латынин преписал от греческа история...» (50); «Пишет Барон... Тако и греци пишут в ныхни истории...» (56—58); болгары имеют «свидетельство» о своем прошлом «от гречески и латински историй» (110). Отыскал он «некою кратку историю немецкою...» (119), читал он и другие «различни истории рукописни и печатни» (50) украинские и русские.

Однако с ростом национального самосознания у историографов росло и национальное самолюбие, укрепляемое реальными обстоятельствами политической и военной борьбы феодальных государств, в одних случаях, или стремлением к национальному освобождению — в других. Обращение к иностранным источникам в этих условиях таило в себе определенные опасности. Характерной чертой славянской историографии является неизбежная опора на «свидетельства» иностранных (инославянских и неславянских) источников при одновременной резкой их критике.

Отстаивая права новой русской историографии, Татищев полагал, что «наипаче же нужна сия история..., что чрез нея неприятелей наших, яко польских и других, басни и сусщны лжи, к поношению наших предков вымышленные, обличатся и опровергнутыя» (81). Такой же резкий, проникнутый к тому же национально-освободительным пафосом протест против историографии соседней феодальной державы выражен в предисловии к «Истории русов»: «Историки польские и литовские, справедливо подозреваемые в баснословиях и самохвальстве, описывая деяния

народа русского ¹⁰⁴, якобы в подданстве у поляков бывшего, затмевали всемерно великие подвиги их, подъятые на пользу общего отечества своего и польского,... сближая, как можно, народ сей к рабскому состоянию и ничтожеству...» (II). Этот национальный протест связывался с общественно-политическими проблемами: «...а паче,— продолжает автор,— как дошло до освобождения народа сего от ига польского собственным своим мужеством и беспримерною почти храбростию, то тут изрыгнули писатели оные все свои поношения и всех родов неправды и клеветы на сей народ и на их вождей и начальников, называя их непостоянным и бунтливym холопством, по своевольству, будто, и буйству своему бунты и нестроения поднявшим» (III).

Екатерина II выпускала в свет свои «Записки», по ее словам, «в такое время, когда выходят на чужестранных языках книги под именем Истории российской, кои скорее именовать можно сотворениями пристрастными; ибо каждый лист свидетельством служит, с какою ненавистью писан...» (I, 1).

Для Паисия было весьма болезненным ощущение несправедливого отношения к прошлому болгар со стороны византийских историографов. Он нашел по этому поводу важное для себя замечание у Мавро Орбини: «Историки же, которые писали действия болгарския, будучи их неприятели, от зависти и ненависти, о многих околичностях, належащих ко храбрым поступкам болгарским противу оных царей, умолчали» (289). Свободно относясь к цитации источников, Паисий стремился усилить смысловое и эмоциональное значение этой мысли: «Сам тои Маврубур написал тако: „Кажат грецы от зависти, що имели на болгари, не писали храбрива поступки и славная деяния црей и народа болгарскаго, но во кратце и вопреки писали, како ным было угодно, да им не е срамота, защо ги много путы болгары побеждали и дан от них взимали“» (50). Паисий не раз возвращался к этим упрекам: «Греци исперво не писали по реду, а ныне не имеют писано известно всех за болгари и храбрости их, що имели неколико время, и не веруют, що у них не е писано. У них писано по ныхна прилика...» (125).

¹⁰⁴ «Русским народом» или «русами» автор называет украинцев и белорусов, как это вообще было принято у многих историографов XVII—XVIII вв.

Со своей стороны и Раич отмечал, что было очень мало «таковых доброхотов» — историографов, которые занялись бы как следует историей славян. «Был таков один Мавроурбин, — пишет Раич, — который в кратце славян историю описал, ... но и тая суть гаждателпа на многих местах, пристрастна, и замешателна...» (26—27). По словам Раича, у него к историографическому труду «приумножило паче ревность и то, что иностраннии писатели, когда по случаю и мимоходом о сербах нечто написать хотели, ... сказати неможно, с колким гаждением и клеветами они тое написали. Зане по своему обычаю все, что в сербах и прочих славенских народах похвално было, развратили и истончили, храбрость их за варварство, добродетель за злочиние почли, славу же их и храбрыя поступки молчанием прикрыли» (14). Как и Паисий, Раич упрекал прежде всего греческих историков: «Чего в пример, кроме прочих, известнейший быти может Пахимер, греческий историк, который несносныя хулы на Уроша краля... и кралевство Сербское соплел» (14—15). Эту позицию греческих, а также итальянских историографов Раич объяснял так: «И сия есть правильная причина толкаго славян от греков и талианцов презрения и безславнаго наименования, зане славяни немалия беди греком причиняли, когда от них земли отнимали, гради их грабили и разоряли и их самих в порабощение приводили, дани на них налагающе. Того для они, когда о славянех в писанях своих по случаю упоминали, во отмщение некое своея обида славу оных затмнети хотяще, склавами, сиречь, рабами и неволиккама нарицали» (I, 38—39).

Эти высказывания свидетельствуют о том, что сами историографы начали рассматривать историографию как один из способов внешнеполитической борьбы за национальное достоинство своей родины.

* * *

Общественно-политическая целенаправленность работы историографов в сочетании со свойственным им компилятивно-иллюстративным методом обуславливала для них необходимость определенного отбора и освещения исторического материала. Этот отбор должен был регулироваться не теми или иными теоретическими убеждениями историографов, а своеобразным кодексом правил их общественно-профессионального поведения.

Когда перед историографом царя Федора возник вопрос, «что есть история и как подобает быть истории и историку», как надлежит ему свою «должность хранить», он обратился к пересказам (видимо, польским) сочинений «Дионисия Аликарнасия»¹⁰⁵, согласно которым было нужно: «1) чтобы историк выбрал бы повесть красную и сладкую, чтобы сердце чтущих веселил, се есть о которых хочет историю писати, 2) чтобы знал откуда начинать историю и до которых мест писати, 3) чтобы знал, что подобает во истории молчанию предати и что пристойно объявити...» (XXXIX). По мнению Ломоносова, «довольно для ординарного академического историографа, когда он для сохранения древностей издаст в народ некоторыя части..., выключая всякие мелочи, достойныя ничего больше как вечнаго забвения; есть довольно знатных приключений в российских деяниях, чем историограф может удовольствоваться свою и любопытных людей охоту»¹⁰⁶. В обоих этих случаях (при всем различии названных авторов) речь шла о тенденциозном отборе исторического материала с таким расчетом, чтобы часть его «молчанию предати», а другую часть предложить читателю в качестве «сладких», веселящих его «сердце» описаний «знатных приключений» предков. Таким образом, вместе с вопросом об отборе материала вставал и вопрос о характере изложения этого материала.

Как отметил С. Л. Пештич, в XVIII в. многие русские писатели занимались историей (Феофан Прокопович, В. Тредиаковский, А. Сумароков, М. Ломоносов, Н. Новиков, М. Чулков, Ф. Эмин, А. Радищев). Такая взаимосвязь истории и литературы лишь частично могла объясняться энциклопедичностью кругозора некоторых деятелей культуры этого времени, в основе же ее лежало «представление об истории как воспроизведении деятельности отдельных лиц» (царей, полководцев и др.), а это «сближало творчество историка и писателя»¹⁰⁷. По справедливому мнению исследователя, основы «литературности» историографии — «драматизации» в истории и «историчности» в литературе — необходимо искать в самом дони-

¹⁰⁵ Дионисий Галикарнасский (конец I в. до н. э.), греческий историк и писатель, автор «Римских древностей» (в 20 книгах).

¹⁰⁶ Б и л я р с к и й, с. 660.

¹⁰⁷ С. Л. П е ш т и ч, с. 14.

мании историографами своих задач и в тех требованиях, которые предъявлялись к ним обществом.

Литературно-публицистическая историография объединяла цели научно-познавательные и поучительно-беллетристические. Во «Введении кратком» говорилось: «Действо истории сугубо есть полза и утешение» (7), «Действо истории есть утешение и увеселение великое, съ проповедания в истории или описания вещей и дел благих и радосных, красоты ради и лепости...» (7). Такой же принцип подчеркивал Дмитрий Ростовский, когда он в письме к Стефану Яворскому (4 декабря 1707 г.) писал о том, что своей «летописью» он хотел бы «читателя не токмо историями delectare, но и правоучениями docere»¹⁰⁸. Через полвека Ломоносов высказывал почти аналогичные мнения: «история» должна была, как ему казалось, дать каждому читателю «незлюбивое увеселение с несказанною пользою соединенное» (4). «Краткое начертание российской истории», как говорилось на его титульном листе, было издано «для пользы и удовольствия младых россиян».

Многие историографы особенно выдвигали принцип «наслаждения» историей. В предисловии к «Феатрону» Гавриил Бужинский призывал читателя — «историелюбителя»: «...отверзи двери и благоприятне наслаждай очеса твоя умная» (6 об.). Впоследствии Раич приглашал читателей «медом» историческим «насладитесь» (32), а Карамзин сентиментально восклицал по поводу «истории»: «Сколько же удовольствий для сердца и разума!» (X), и подчеркивал, что «в повествовании о временах отдаленных есть какая-то неизъяснимая прелесть для нашего воображения: там источник поэзии!» (XXIII).

Литературные вкусы историографов нередко заставляли их опираться на повествовательные материалы и даже ставить это себе в заслугу. Так, Камешевич-Рвовский заявлял о том, что он собирал материал не только от «летописаний историчных», но и от сочинений «повестобытийских» (25). Обращаясь к читателям, он просил помянуть его «благопредлюбезно» за эти «любописьменные... художества моя» (38). «Скифская история» Лылова была составлена на основе «верных историй и повестей» (1). Татищев еще не мог отказаться от провозглашения литературно-повествовательного подхода к истории.

¹⁰⁸ И. А. Шляпкин, с. 419.

Выдвигая свои требования к историческому сочинению, он писал: «...как всякое строение требует украшения, так всякое сказание красноречия..., которому наука реторика наставляет» (IX)¹⁰⁹. Впоследствии Карамзин считал необходимым, чтобы историк вносил в «сухие хартии» древности «порядок, ясность, силу и живопись» (XX).

Ломоносов объединял задачи исторического исследования и литературного описания прошлого. Для сочинения «Российской истории полной по примеру древних степенных историков,— писал он,— каков был у римлян Ливий, Тацит, есть дело не всякому историку посильное..., ибо для того требуется сильное знание в философии и красноречии»¹¹⁰. Важно отметить, что именно эти образцы и эти требования выдвигались в качестве сравнений историографами XVIII в., когда они пытались оценить историографические заслуги самого Ломоносова. «Господин статский советник Ломоносов,— писал его современник Иван Елагин,— был беспрекословно тот муж, который обладал всеми способностями прямого повествователя. В нем находилась обширнаго Тита Ливия соображения природа, великое тонкаго Тацита политики проищание, и краткаго Салюстиева красноречия острота..., трудно как в красоте и приятности слога, так и в важности мыслей с ним сравняться...» (XXVII).

Предприимая описание «праотцев», Ломоносов предупреждал читателя: «..твердо намеряюсь держаться истинны...» (4). Однако само понимание исторической «истинны» для Ломоносова, как и для других славянских историографов данного периода, вовсе не включало в себя условия неприкосновенного отношения к фактическим сведениям древних источников или отказа от сочинения таких новых сведений, которых в них не было, но которые казались ему вполне «истинными», отвечали его взглядам и эстетическому вкусу. Поэтому изложение русской истории самим Ломоносовым вполне отвечало тем правилам, которые он устанавливал для академических историографов вообще: оно представляло собой один из ранних опытов риторически-драматизированного пересказа

¹⁰⁹ Однако сочинение В. Татищева было отвергнуто современниками именно из-за «отсутствия красивого рассказа, рассуждений и выводов самого автора» (С. Соловьев, с. 36).

¹¹⁰ Биллярский, с. 660.

«Повести временных лет» в компилятивном соединении ее материала со сведениями, почерпнутыми частично у Татищева, а также в старых историографических сочинениях М. Кромера, И. Зонары, Г. Кедрина, Х. Занда и др.¹¹¹

Сопоставление сочинений русских историографов с их источником дает наглядное представление о литературно-публицистических приемах их работы. В летописи, например, говорится: «И поведаша Ользе, яко деревляне придоша и возва я Ольга к собе и рече им: „Добри гостье придоша“. И реша деревляне: „Придохом княгине“. И рече им Ольга: „Да глаголете, что ради придосте семо?“ Реша же древляне: „Посла ны Дервььска земля, рекущи сице: мужа твоего убихом, бяше бо мужь твой, аки волк восхща и грабя..., да поиди за князь нашъ за Мал“... Рече же им Ольга: „Люба ми есть речь ваша, уже мне мужа своего не кресити...“» (40—41)¹¹². Татищев передал этот эпизод сравнительно близко к источнику: «Ольга же, уведав о приходе послов древлянских, призвала к себе, и рекла им: Почтенные гости! объявите, чего ради вы присланы?»¹¹³. Но Ломоносова уже не могли удовлетворить ни содержание, ни стиль летописного сообщения. Он пишет по-своему: «Ольга, услышав о приезде, возмущилась печалию, видя паглоть убивцев своего супруга. Слезам и плачу ей соответствовал весь народ рыданьем и воплем...» (73—74)¹¹⁴. Эмину не понравилось появление «народа» в этой картине, а экспрессия ее показалась недостаточной. Он сочиняет далее: «Ольга... пришла во внутреннее возмущение... Слезы полились из очей ея; кругом около нее стоящие вельможи и знатныя женщины, видя свою государыню рыдающую, усердным своим плачем и въздыханием ей соответствовали» (179). Однако во второй половине XVIII в. все эти публичные «слезы» и «вопли» уже не отвечали представлениям о достоинстве русской монархини и ее придворном этикете. Поэтому,

¹¹¹ См. М. В. Ломоносов. Полное собрание сочинений, т. VI. М.—Л., 1952, Примечания, с. 586—588 (далее: М. В. Ломоносов, т. VI).

¹¹² Повесть временных лет, часть первая. Текст и перевод. Подготовка текста Д. С. Лихачева, перевод Д. С. Лихачева и Б. А. Ромазова.— Литературные памятники. М.—Л., 1950 (далее: Повесть временных лет).

¹¹³ В. Н. Татищев. История Российская, кн. 2. М., 1773, с. 36.

¹¹⁴ См. С. Соловьев, с. 45.

очевидно, Екатерина II полностью исключает их из своего повествования и делает замечание, которое выглядит как выговор историографам: «Посольство древлян принято было снаружи со благопристойностью» (I, 69). «Великая княгиня Ольга, — продолжает она, — выслушала причину пришествия послов, ответствовала: что быв во вдовстве, еще благодарить обязана древлянам, что толико к ней уважения имеют...» (I, 69). Вполне понимая эти царские требования, но не имея еще возможности целиком расстаться с риторическим украшением истории, Иван Елагин (екатерининский придворный) делает попытку изобразить внутренние переживания Ольги, искусно скрытые ею: «Ольга, услышав о приходе послов..., возмущилась новою печалью; но терзание в душе своей сокрыв, призвала их к себе и притворно вопрошала: „Коя ради вины, почтенные гости, присланы вы ко мне?“ Послы с неистовою надменностью отвечали...» (II, 247). Эта тенденция принимается Иваном Стриттером: «Ольга... умела по прозорливости своей тотчас скрыть жестокою печалью о смерти своего супруга и ненависть свою к убийцам... и начала с ними говорить ласково...»¹¹⁵. Таким образом, историографическое повествование в течение полувека проходит путь от риторической драматизации источника к его риторической психологизации.

Литературно-публицистические приемы изложения летописного текста нередко приводили к тому, что реальное содержание этого текста начинало утрачивать свою ясность. Например, в летописи говорилось: «...суну копьем Святослав на деревляны, и копье лете сквозе уши коневи, и удари в ноги коневи, бе бо детеск» (42). Татищев, видимо, не понял этого фрагмента: «...Святослав, хотя тогда млад был, но яко вождь и мстителъ смерти отца своего, сам начал битву, и бросая копием в древляны, пробил коня сквозь,...» (кн. II, 39). Попытка Ломоносова была также неудачной: «Святослав кинул копье в неприятеля, и пробил тем коня сквозь уши» (77). Эмин придумал свой вариант: «..молодой Святослав кинул свое копье на приближающегося к нему неприятеля, но оный от сего удара уклонился» (190). Елагин предложил противоположный

¹¹⁵ История Российскаго государства, сочиненная Статским советником и кавалером Иваном Стриттером, ч. 1. СПб., 1800, с. 40—41.

вариант: «Брань жестокая начинается брошенным из сильных храброго Святослава десницы копьем, пробившим коня под начальником древлянским» (II, 256). Только Карамзину удается понять текст летописи и дать его удовлетворительное, хотя и неполное, изложение: «Копье, брошенное в неприятеля слабою рукою отрока, упало к ногам его коня» (162—163).

* * *

Литературно-риторические приемы исторического повествования понимались историографами в их практике, а иногда и определялись теоретически, в духе простейших принципов литературно-художественной типизации. Так, Эмин сообщал читателям: «...многие речи, которые в сей Истории разные говорят лица, выдуманы; например: речь, которую говорит Гостомysl к мятущемуся народу, уговаривая оный, дабы призвать Рюрика на владенье... Но естли Гостомysl оной не говорил, то по малой мере должен был говорить что-нибудь тому подобное...» (XLIX).

Отсюда вполне понятен и тот факт, что историографы, по существу, не различали исторические источники и художественно-исторические произведения. Составитель «Введения краткого» риториически спрашивал: «Что Александра приведе к таковой храбрости и соделаше великим победоносцем, аще не храбрость Ахилева, Гомером изрядно списана...?» (8—9). Эту мысль развивал Бужинский в своем предисловии к книге Пуффендорфа: «...победитель всего мира Александр Македонский... Историю Омира стихотворца о действиях мужественнаго Ахиллеса с ненасытимым читал желанием. И когда опочивал по трудах воинских, в дражайшем кивоте... под главою своею книги Омировы полагал и сохранял» (6).

Обратимся к отдельным примерам подобного совмещения поучительно-исторических и художественно-литературных приемов историографического повествования.

Поэзия Торквато Тассо, как известно, весьма привлекала к себе внимание писателей славянского Возрождения¹¹⁶. Эта поэзия не прошла мимо украинского исто-

¹¹⁶ См. И. Н. Голенищев-Кутузов. Была ли так называемая «литература барокко» в славянских странах? В кн.: IV Международный съезд славистов. Сборник ответов на вопросы по литературоведению. М., 1958, с. 78. Поэма Тассо была переве-

риографа Величко (она была воспринята им, видимо, через посредство поэзии С. Твардовского), которого очень привлекали и ее противомусульманский пафос, и совмещение в ней элементов идеологии гуманизма с традиционными представлениями христианства. Эти тенденции вообще отвечали умонастроениям запорожского казачества, для которого (в условиях его постоянной борьбы с турецко-татарской экспансией) были характерными попытки своеобразного возрождения отдельных признаков рыцарско-христианской идеологии в ее новой (и исторически — последней) демократизированной форме.

Приступая к описанию похода турецких войск в 1676 г. под казачью столицу Чигирин и собираясь рисовать картины «злключения и крайнаго чрез турков спустошения и разорения», Величко сообщает, что он намерен «положиты для забавы тебе, ласковий чителнику, сие повое повести сатировой смилнение, вложивши в нее отчасти приличные речи с песни четвертой влоского автора Торквата Таса»¹¹⁷.

В поэме «Освобожденный Иерусалим» поэт итальянского Ренессанса рассказывал, в частности, о том, как сам сатана собрал все силы ада для защиты сарацин от рыцарей-крестоносцев¹¹⁸. Этот сюжет показался украинскому историографу наиболее подходящим. Величко сразу обрывает свое конкретное и документированное историческое изложение событий и после приведенной нами ссылки на Тассо предлагает читателю чисто литературное воспроизведение рассказа некоего «сатира» о том, как он, спрятавшись в дупле, в «Недобре, лесе Подолском» видел собрание «Луципера з прочими его старейшинами». Сюжет Тассо трансформируется здесь как воспоминание Луципера о его былой борьбе против крестоносцев, которую он и предлагает возобновить, чтобы помочь туркам в их

дена в стихах на польский язык П. Кохановским (1618 г.), а с этого перевода — на украинский язык в конце XVII — начале XVIII в. (см. В. Н. Перетц. «Освобожденный Иерусалим» Т. Тассо в украинском переводе конца XVII — нач. XVIII вв. В кн.: Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI—XVIII веков. Л., 1928).

¹¹⁷ Летопись событий в Югозападной России в XVII-м веке. Составил Самойл Величко, бывший канцелярист канцелярии Войска запорожского, 1720, т. 2. Киев, 1851, с. 401—402.

¹¹⁸ См. Освобожденный Иерусалим, ироническая поэма, итальянского стихотворца Тассо, переведена с французского Михайлом Поповым, ч. 1. СПб., 1772, с. 127—134.

походе против «в вери своей православной непозиблемих руссо-хазаров» (украинцев) и «до остатка землю их з Чигиринном, столицею гетманов их..., раззорити»¹¹⁹. После пространной речи Луципера «демони же по такой князя своего многорогого информации и ординанцу, рассеявшись, во вселенную, начаша своих козней, где прилично, сети распростирати..., а набарзей слуг своих махометанов поджигати сердца»¹²⁰. Сразу после этих строк Величко переходит к действительности и начинает пояснять политические обстоятельства временного успеха турецкого похода: «Причины здесь тому Чигиринна... запустению явние и главнейшие две суть...»¹²¹. Так совмещается в повествовании историографа реальная историческая канва с литературными реминисценциями.

Сближение художественных и историко-публицистических задач нередко наблюдается и в литературе XVII—XVIII вв. Интересным примером этого может служить издание стихотворной «Трагедии» М. Козачинского, сначала воспитанника, а затем префекта Киевской академии, который в 1733—1735 гг. был направлен к сербам и стал во главе сербской школы в Карловцах, где и написал свое сочинение. Издатель и редактор этой «Трагедии» Йован Раич писал в «Предуведомлении», что он не случайно принял за осуществление данного издания после публикации своей «Истории»: «Ныне же по случаю напечатанья Сербския Истории вознамерихся, еже и оную, аки из мертвых воставити, с тем намереншем, дабы... любимому обществу во утешение представити: откуду яко Трагедия сия из Истории, тако и История из Трагедии взаимный свет воспримут» (58)^{121а}. В прологе к «Траге-

¹¹⁹ Величко. Указ. соч., с. 406.

¹²⁰ Там же, 408—409; своеобразие стиля Величко выявляется при сопоставлении этого текста с переводом М. Попова: «Едва князь демонов престал вещати, как все адские духи, исходя яростно из черных бездны, рассыпались по земле, дабы исполнити повеления своего самодержца» (указ. изд., с. 133—134).

¹²¹ Величко. Указ. соч., с. 409.

^{121а} Трагедия сиречь печальная повесть о смерти последнего царя сербскаго Уроша Пятаго и о падении Сербскаго царства, сочинена и произведена 1733 года в Карловце Сремском, а ныне пречищена и исправлена предлагается трудом и тщанием И. Р.,... В Будиме... 1798; цит. по изд.: А. Соболевский. Неизвестная драма М. Козачинского.— Чтения в Историческом обществе Нестора летописца, кн. 15, в. 2, 3. Киев, 1901.

дии» некий «предвозвестник» высказывает мысли, излюбленные славянскими историографами:

Любомудрецы реша добро быти зело,
еже мужей прехвалных восхвалити дело,
достойно, и праведно да поздняя веки
како они пожшла между человеки
ведома память будет, и имя их славно
к подражанию людем представится явно (1).

В эпилоге выступает аллегорическая «Серблия», которая повторяет определения и сравнения, применявшиеся Раичем в его «Истории» к выяснению принципов историографии (см. стр. 32):

Яко же бо без соли пища есть невкусна,
такo без правoв добрых наука есть гнусна (122).

* * *

Исторический материал под пером историографов превращался в средство выражения их национально-политических идей, обретал формы почти литературного повествования и благодаря сочетанию этих двух качеств такие историографические сочинения получали большое общественное признание. Яснее всего это обнаруживается на общественно-литературной судьбе «Истории русов или Малой России», составленной (в ее первоначальном виде) по прямому политическому поводу. В «Предисловии» к этой «летописи» говорится, что она была передана Г. Ко-нисским, архиепископом белорусским, профессором и ректором Киево-Могилянской академии, а также писателем¹²², его ученику, депутату (с 1767 по 1773 г.) «шляхетства малороссийского» в петербургской Комиссии по составлению нового свода законов Г. А. Полетике, который считал ее «превосходнейшею, всегда ее держался в справках и сочинениях по Комиссии» (II). Однако несмотря на эту сравнительно узкую политическую задачу, несмотря на то, что материал «Истории русов» изобилует ошибками и тенденциозным искажением исторических фактов даже недавнего прошлого Украины (XVII — нач. XVIII в.),

¹²² См. Ф. Я. Шолом. Просветительные идеи в украинской литературе середины XVIII века. В кн.: Проблемы русского просвещения в литературе XVIII века. М.—Л., 1961, с. 51—54.

эта «летопись» приобрела широкую популярность: она как нельзя лучше отвечала духу времени и сложившемуся в обществе взгляду на историографию. Еще до типографской публикации «Истории русов» А. С. Пушкин писал (в 1836 г.), что это сочинение было создано Г. Конисским¹²³ с «целью государственною», ибо «одна только история народа может объяснить истинные требования оно-го...» (18)¹²⁴. Автор «сочетал поэтическую свежесть летописи с критикой, необходимой в истории» (18). «Смелый и добросовестный в своих показаниях, Конисский не чужд некоторого невольного пристрастия. Ненависть к изуверству католическому и угнетениям... отзывается в красноречивых его повествованиях. Любовь к родине часто увлекает его за пределы строгой справедливости» (19). Этот отзыв, представляющий для нас очень важное свидетельство оценки памятника историографии XVIII в. в 30-х годах XIX в., Пушкин заключает самой высокой похвалой историографу прежде всего как писателю: «Множество мест в Истории Малороссии суть картины, начертанные кистью великого живописца» (19). Он выражает характерное пожелание: «Будем надеяться, что и великий историк Малороссии найдет себе наконец столь же достойного издателя» (24). Пушкин обильно цитирует «Историю русов». Например: «Церкви русские силою и гвалтом обращали в унию. Духовенство римское, разъезжавшее с триумфом по малой России для надзора и понуждения к униатству, вожено было от церкви до церкви людьми, запряженными в их длинные повозки по двенадцати человек и более. На прислуги сему духовенству выбираемы были поляками самые красивейшие из девиц» (20).

Впоследствии М. А. Максимович писал: «В этой знаменитой истории, весьма замечательной со стороны художественной, малороссийская казаччина XVI и XVII века представлена с тою же поэтически-своевольною перестройкою исторической действительности, с какою и Гоголь в своем „Тарасе Бульбе“, и Шевченко в своих „Гайда-

¹²³ Об авторстве «Истории русов» существуют разные предположения, см.: Ал. Лазаревский. Отрывки из семейного архива Полетик. — Киевская старина. Киев, 1891, № 4, с. 97—116; М. Возняк. Псевдо-Кониський і Псевдо-Полетика («История Русов» у літературі і науці). Київ—Львів, 1939.

¹²⁴ Пушкин. Собрание сочинений Георгия Конисского — Полн. собр. соч., т. 12, 1949, с. 18—24.

маках" изображали избранные ими эпохи...»¹²⁵. Читателю и даже историку было «трудно отрешиться от всего, что есть вымышленного в этой обаятельной истории...»¹²⁶. Оценки «Истории русов», данные Пушкиным и Максимовичем, могли бы, по существу своему, увенчать всю славянскую историографию переходного периода.

* * *

Сочинения историографов сближались с литературным повествованием и ориентировались на широкие читательские круги. Поэтому историографы были весьма озабочены проблемой языка и стиля своих сочинений. Памятники историографии восточных и южных славян, как и другие памятники письменности переходного периода, свидетельствуют о том, что объективно это был конгломерат разноязычных и разностильных элементов письменной и устной речи, наложенных на традиционную основу в виде церковнославянского книжного языка позднего московского типа¹²⁷. Но субъективно самим историографам их изложение представлялось образцом «простого» национального стиля.

В основе отношения историографов к церковнославянскому языку современной им княжности лежали их общие представления о происхождении славянских народов, их родстве, вере. В период формирования славянских наций проблема «славянского» языка, как и проблема «славянской» книжности, приобрела особую актуальность.

Еще Захария Копыстенский в своем предисловии к «Беседам» Иоанна Златоуста предлагал эту книгу всем православным славянам (и некоторым соседящим с ними единоверным народам): «Приемлете его (Златоуста. — А.Р.) Иафетово племя Россове, и Славяне и Македонове, стя-

¹²⁵ М. Максимович. Исторические письма о казаках Приднепровских к М. В. Юзефовичу. Письмо III. — Киевлянин. Литературно-политическая газета Югозападного края. Киев, № 23, 23 февраля 1865 г., с. 90.

¹²⁶ М. Максимович. Указ. соч. — Киевлянин, № 24, 25 февраля 1865 г., с. 93.

¹²⁷ См. содержательную статью Н. И. Толстого «Роль древнеславянского литературного языка в истории русского, сербского и болгарского литературных языков в XVII—XVIII вв.». В кн.: Вопросы образования восточнославянских национальных языков, М., 1962, с. 5—21.

жите и Болгарове, Сербове и Босняне, обლობызайте и Истрове, Иллириккове и Далматове, сряцете и Молдаване, Мултяне и Унгаровлахове, въсприймете и Чехове, Моровляне, Гарватове, и вся широковластная Сарматна възлюби и притяжи и, и все православнии...»¹²⁸. Несколько позже, в условиях укрепляющегося русского абсолютизма, историографы отделяют вопрос о языке от общего вопроса о книжности и начинают обосновывать не только историческое значение своего языка, но даже первенство его среди других славянских языков. В составе русского хронографа XVII в. при обработке материалов польских хроник обращается большое внимание на мнения Стрыйковского о том, что славянский язык в результате расселения его носителей стал подвергаться влиянию языков неславянских: «... котораяждо страна к коим странам приближився, в те языки и возвратишася, яко же явне известим. Болгары, босны, рацове, пстрове¹²⁹ хорваты — в турецкой язык, ... долматове — во влоской язык, а во всех них понемногу языка прироженнаго словенскаго держат»¹³⁰. В отличие от этих языков, о русском языке говорилось: «Истинный же столп языка словенскаго в Московстей земли, глаголаша прямо от размещения языка» (т. е. от «вавилонского столпотворения». — *А. Р.*). По идее историографов оказывалось, что этот первоначальный московский «славенский» язык совпадал с языком письменности, созданной Кириллом и Мефодием: по имени библейского Мосоха «нарицашеся Московия, и письма словенские, еже от Кирила изведено, и сими писаху Московия тако, яко и язык прадедень глаголаху»¹³¹. Книжники не упускали случая заявить собратьям: «А чехи и ляхи сий язык глаголаша, но не истинно, изменено много — от немецкаго и латинскаго языка множество словес их»¹³².

Эту концепцию столетие спустя развивал Ранч. «Между сими паки славенскими народами, — писал он, — спор

¹²⁸ Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго, архиепископа Константинопольскаго Беседы на деяния святых апостол. В Киновии... Киевския Печерския лавры... в лето... 1623, л. 16—17.

¹²⁹ В оригинале: «Болгары бо сырацов хорваты...», исправляем по чтению И. Первольфа (Славяне, т. 2, с. 439, пр. 2).

¹³⁰ А. П о п о в. Изборник, с. 441 (см. ссылку № 178).

¹³¹ Там же.

¹³² Там же.

есть, что вси хотят прославити род свой, яко древностию рода, тако и чистотою и превосходством языка над прочими. Тако, во-первых, боеми с руссами сказующе, что их диалект есть начаток и самый чистый древних славян язык... Боеми в том излпха хвалятся, доволнаго обаче доказательства дати не могут...» (I, 44—45). В этот спор Раич пытался внести ясность, подчиняя вопросы языка своим общим представлениям о происхождении славянских народов: «Сие бесспорно есть,— продолжал он,— что Россия в древнейших сарматских славенского языка столицах и до ныне пребывает, прочие же народы славенские из той же Сармации, аки из собственного дому, изселившеся, в чужих краях поселилися» (I, 45). На основе этого московского варианта «сарматской» теории Раич заключает: «... и корень языка того... и донныне в своих пределах старых, нынешней России, пребывает» (I, 45). Но Раич делает важную лингвистическую оговорку: «Когда я славенского языка древность и чистоту в российских недрах храниму быти сказую, не говорю то, аки бы нынешний великороссийский и малороссийский язык чистейший и старинный был; диалекты бо суть, якоже и прочие. Но есть в России и другой особенный, чистый, называемый своим именем, язык славенский, который во общем разговоре не употребляется, но есть точию церковный...» (I, 46). На этом языке печатаются книги, которые все славяне «обще уразумети могут, чего пакы пример суть руссы (украинцы.— *A. P.*), поляки, сербы, болгары, хорваты и прочие...» (I, 46). Таким путем проблема общеславянского книжного языка сочеталась в сознании историографов и их читателей с проблемой происхождения славянских народов.

Пансий, как известно, использовал в своей работе русские издания сочинений Мавро Орбини, Цезаря Барония, а также неизвестные еще нам «истории рукописи и печатны, что извадили руси и московцы» (50). Это позволило ему определить свое отношение к языку русской и украинской книжности: «И обратих от руски речи прости на болгарски прости речи и словенски» (157).

Но воспринимая в качестве основы своей письменной речи язык восточнославянской книжности, историографы тут же вступали в борьбу с его нормами. Нападая на этот язык с национально-демократических позиций, они охотно заявляли читателям о своей непричастности к той

литературной культуре и грамматической традиции, которая была связана с ним. Паисий говорил: «Не учих ся ны граматика, ни политыка, но простим болгаром просто и написах. Не быст мне тщание за речи по граматыка слагати и слова намецати...» (158). В подобных заявлениях еще звучат традиционные признания средневековых книжников. Так, Спиридон просит читателя исправить его труд в случае погрешностей «в грамматической силе»: «...по-неже не знал я художество писанию» (1).

Самуил Величко пользовался стилем языка казачьей канцелярии, в основе которого лежала западнорусская книжная речь, оснащенная наследием церковнославянского языка в пестром сочетании с элементами живого украинского языка и с полонизмами¹³³. Не чуждаясь обильной риторики, Величко тем не менее счел необходимым сообщить читателю о демократическом характере своего стиля и языка: «... понудихся, для вигоди твоей, любопытствующий чителнику малоросійский, вывести простим стилем и наречіем козацким... гисторію...» (3). Он писал «стилем гисторичним и наречіем малоросійским...» (1). Точно также и Раич ставил себе задачу историю Сербии «на матернем диалекте исторически описати...» (13); хотя в основу такого «диалекта» на практике он положил церковнославянский язык русской книжности. Эти декларации о языке собственных сочинений помещались даже в самих их заглавиях. Например в брошюре: «История храбрых славянских народов, а найпаче болгар, сербов и хорватов из тми забвения изытая и матерним диалектом во свет исторический произведенная Иоанном Раич... В Вене, 1793»; или в одной из переделок — «История славенно-болгарскогъ народа. Из г. Раича Истории и неких исторических книг составленна и простим языком списанна за сынове Отечества Афанасием Несковичем. В Будиме граде, 1801».

Глубоко обдумывая проблемы стиля и языка, Ломоносов не преминул ориентировать их на задачи историографии. Он считал достаточным «для ординарнаго академическаго историографа», если он опишет историю народа «простым, но порядочным штилем...»¹³⁴.

¹³³ См. П. Ж и т е ц к и й. Энеида Котляревского и древнейший список ее в связи с обзором малорусской литературы XVII века. Киев, 1900, с. 70—73.

¹³⁴ Б и л я р с к и й, с. 660.

ИСТОРИОГРАФ И ИСТОРИЯ

В сознании историографов происхождение мира и человека, история человечества и история христианства, история гражданская и церковная представляли собою комплекс почти нерасчленимых явлений, без освещения которых невозможно было бы составление сколько-нибудь полного сочинения по всемирной истории. Эта общеевропейская идеалистическая концепция истории получила отражение и у известных католических историков (Цезарь Бароний: «Деяния церковная и гражданская от рождества господна нашего Иисуса Христа...») и у протестантских (Вильгельм Стратеман: «Феатрон..., изъясняющий повсюдную Историю священнаго писания и гражданскую... от начала мира...»), сочинения которых переводились и издавались в Москве и в Петербурге, а затем довольно широко распространялись по разным центрам восточно- и южнославянского просвещения. Связанная с этой общей исторической концепцией и принятая в историографии периодизация истории была простой и ясной. По мнению составителя «Введения краткого», она должна была расчленять «двоего мира деяния»: «Си есть: 1, прежде потопа и в потопе самом что деялося,... [и] втораго мира, иже бысть по потопе, или прежде рождества христова или по рождестве христове» (11).

Хотя Гавриил Бужинский, судя по его предисловию к «Феатрону», уже отдавал себе отчет в том, что есть история «церковная» и «гражданская», но библейское предание целиком относилось им не к церковной истории, а к истории общества: «... что бо суть иное Ветхаго и Новаго заветов скрижали, аще не по вящей части история?» (2). Раич также считал, что «почти половинное божественное писание историческая представляет повести добре и худо поживших человек...» (19).

Однако перерастание в сознании историографов нравственно-религиозных идей в идеи нравственно-политические и возникновение у них стремления распространить эти идеи в своем народе заставило их задуматься над вопросами исторических судеб народов и движущих сил истории вообще. Эти проблемы оказали влияние на классификацию разделов исторического знания.

Гавриил Бужинский в предисловии к «Феатрону» писал, что историческое познание членится на четыре раздела: «Топика, си есть местная», «Хронология, си есть летосчисление», «Генеалогия, си есть родословие», и, наконец, «Последн же егда описует вещи содеянныя и действия славных мужей, тогда сие имя имать Прагматология, еже есть деп[с]ловие» (4 об.). В развитии «прагматологии» заключались те новые возможности, которые могли обеспечить переход от летописания и хронографии к исторической науке. Историографы чувствовали необходимость осмысления исторического процесса на путях этой «прагматологии», но понимали ее преимущественно как описание «действий славных мужей», которыми и объяснялось историческое развитие.

Требования историографической «прагматологии» существенно отличались от исторического прагматизма в науке нового времени, поскольку в основе ее лежало не научно-теоретическое исследование прошлого (как области специального знания), а прославление действительных или воображаемых прошедших «деяний» как выражение идеологических потребностей возникающего в обществе национального самосознания. Если история рассматривалась как обобщение полезных для общества «примеров», то уже этот подход к историческому знанию определял характер «прагматологии». В этих условиях библейские мифы, летописные предания и народные легенды становились для историографов необходимейшим материалом, причем заведомыми «баснями» или «баснословием» сами они считали совсем не то, в чем так охотно обвиняют их историки нового времени.

Недоверие историографов вызывали не христианские (или произвольно ими самими христианизированные) легенды, а прежде всего отдельные сюжеты «языческой» мифологии, один из которых, например, оценивался Андреем Лызловым в его «Скифской истории» следующим образом: «Диодор Сикулос, историк велми старовечный... во время

кесаря Августа, поведает: Скифом начало имети от Скифа перьваго князя их, рожденнаго от Эови, девицы, иже бяше до пуна человек, останок же его подобие змии обретається... О сем иные летописцы сумневаются и глаголют, что бы то за дивы были (ибо таковых, кроме Мелюзины морской, не обретається) и мнят повесть ту быти лживую или басни в себе содержащую» (2). При этом А. Лызлов ссылается на мнение польского историка А. Гвагнини, но характерно, что сам он не отвергает изложенной «басни» полностью.

«Прагматологические» воззрения историографов требовали того, чтобы при историческом описании, по словам историографа царя Федора, излагались «не токмо случаи» (т. е. факты), но «и доводы и причины их» (XXXIX). Если же этих «причин» в «истории» написано не будет, «тогда что написано в ней наипаче баснословие будет, а не история» (XXXIX). Таким образом, истолкование исторического материала («доводы и причины») начинало превалировать над самим этим материалом, и «баснословием» объявлялось именно то, что в исторической науке нового времени считается фактографией. Впоследствии Эмин разъяснил, что для историка «недовольно собрать множество повествований и о делах прошедших уведомить общество оных собранием; ему надобно каждое минувшее действие описывать обстоятельно, находить причины, и изъяснять следствия, которые хотя, может статься, по случаю и не были, однако легко бы быть могли» (L1).

Подобные принципы «прагматологии» позволяли историографам принимать легенды и свидетельства их предшественников за убедительные «доводы» или «следствия» и, в частности, давали им широкие возможности для того, чтобы конструировать казавшиеся им достоверными (а главное — желательными) схемы происхождения собственных народов. Поэтому, рассуждая о «доводах и причинах» исторического процесса, историограф царя Федора полагает важнейшей задачей описать «родословное, яко произведет род и народа от корени, яко савроматов от амазонов произведут или от елинов-греков и прочее» (XXXVIII).

Когда автор «Истории русов» столкнулся именно с этой трудностью произведения народа от его «кореня», он заявил, что отсутствие древнейших сведений о происхождении славян объясняется их обыкновением присваивать себе множество «названий». Печенеги, половцы, «козары»—

все они были славянами, и подвиги их хорошо восполняют недостающие сведения о славянах (под их собственным именем). Без этого допущения, по мнению автора, получается явная историческая несообразность: славяне «как бы с неба опустились и в землю вошли, не оставив потомства своего, чего история никак терпеть не должна, яко баснословнаго» (3). И здесь «прагматология» спорит с фактографией: «баснословным» объявляется наличие исторических лагун, а не тех «доводов», при помощи которых эти лагуны заполняются. Историческая фантастика такого рода служит общественно-политическим и национально-патриотическим интересам, пользуется доверием читателей и не превращается еще в заведомую ложь для самих историографов.

Ломоносов указывал на вымыслы древних летописцев и считал, что вообще «у всех древних народов история сперва баснословна»¹³⁵. Но он не отождествлял произвольные догадки историографов с древними «баснями», которые еще не утратили для него своей привлекательности: «...однако,— продолжал он,— правды с баснями вместе выбрасывать не должно, утверждаясь только на одних догадках»¹³⁶. Не совсем расстался с этими представлениями и Карамзин, хотя он придавал им несколько иное значение: «...самыя басни древния любопытны для ума внимательнаго, изображая обычаи и дух времени» (160).

Нагляднее всего принципы историографической «прагматологии» пояснил Эмин: «Многие народы принуждены были из баснословия первоначальныя историческяя выводить действия. Они умствованием и разными догадками из басен правоучения, из правоучений прошедшия действия, из действий паки правоучения производить старались, и таким образом связывали свою историю» (VI). Сам Эмин добросовестно следовал этим принципам. Он писал: «Особливо я боялся наполнить Историю мою странными чудесами и многими баснями...» (XIX). Это несколько не мешало ему выдумывать речи исторических лиц. Напротив, эти выдумки и вносили в фактографическое изложение необходимую «прагматологию». По мнению Эмина, такое сочинительство было общим достоянием историков и «все историки думали, что им она не только

¹³⁵ М. В. Ломоносов, т. VI, с. 20; ср. Очерки, с. 195.

¹³⁶ М. В. Ломоносов, т. VI, с. 20.

дозволительна, но и необходимо нужна для того, чтоб можно было историю различить от сказки» (L). Придуманые автором сведения становятся необходимым свойством историографии, отличающей ее от «сказки» по следующей причине: «Многие сказки, — продолжал Эмин, — имеют в себе много правды, но историю их назвать нельзя, которой свойство состоит в том, дабы не только человеческое любопытство уведомлять о прошедших делах, но и важностию речей и разными полезными рассуждениями научать тех, кои довольнаго просвещения не имеют» (L). Гораздо ранее Эмина, но без подобного рода деклараций такая историографическая практика развивалась Татищевым. «Но дело не в том, — пишет современный исследователь, — что Татищев заставлял исторических деятелей говорить речи, которые ими никогда не произносились, заставлял их являться там, где они никогда не были... Смысл всех этих бесчисленных авторских добавлений, сделанных в форме летописных известий, заключается в том, что именно ими Татищев выражал свои исторические взгляды, политические убеждения и просветительские идеалы»¹³⁷. Вполне соглашаясь с этим мнением исследователя по существу, мы не можем принять предложенную им форму постановки данного вопроса, как бы оправдывающую ошибки Татищева, — «Но дело не в том...». Дело именно в этом и этим-то историография принципиально отличается от исторической науки нового времени. Просветительские задачи историографии преследовали цели скорее общественно-публицистические и политические, чем научно-познавательные. Эти цели требовали от историографов «выдумки», возводили ее в принцип их работы и сближали историографию с литературой.

* * *

Итак, «история есть описание дей или деяний» (I, 4) как писала Екатерина II, повторяя слова Татищева. Но чьих «деяний»?

Если исторический процесс в свете «прагматологии» представлялся последовательной сменой человеческих «деяний», то судьбы народов по-прежнему, в духе допрагма-

¹³⁷ С. Л. Пештич, с. 249.

тического сознания летописцев, определялись божественным провидением¹³⁸.

Историограф царя Федора полагал, что провиденциальные пути истории находят свое наиболее благоприятное воплощение в действительности именно тогда, когда «подданные своему пачальству» подражают, «яко пример себе и делом своим народ изобразует» (XL). Тогда-то божие «предсмотрение» правит миром и через него «царие царствуют и сильнии судят землю» (XL). Но в то же время историограф царя Федора не считал возможным ограничиться описанием «деяний» царей и других высших представителей феодального общества. Он призывал обратить внимание на «розные бывших дела и обычаи народов» (XXXVIII). Автор «Повести известной» также сообщал читателю, что он стремится описать «деяния русских и литовских народов» (336 об.).

Наряду с традиционным интересом историографов к вопросам династическим и судьбам царствований, их начинают особенно живо интересовать проблемы происхождения и родства славянских народов, участия их в исторических судьбах той или иной славянской страны. В сознании историографов «народ» мыслится еще скорее как национально-этническое, чем как социальное понятие. Однако важен был уже сам факт пробуждения этого интереса к народу, «деяния» которого, наряду с «деяниями» славных «мужей» (монархов, полководцев, «пастырей» церкви и др.), начинали рассматриваться как двигатель «истории», первоначально главным образом в ее древнейшие эпохи.

Составитель «Введения краткого», отражавший, очевидно, противобоярские тенденции петровской политики, считал необходимым провозгласить своеобразные национально-демократические принципы понимания истории: «Известно же буди, яко не о велможех или благородных и даровашии божие имеющих, но точно о людях простых зде слово есть, понеже и ти от славы и дел славных именем и вещью воистинно суть славяне...» (3). В известной мере эти тенденции проявились через полвека и у Ломоносова, который писал: «Обстоятельства, до особенных людей надлежащая, не должны здесь ожидать похлебства, где весь

¹³⁸ См. И. П. Еремичев. «Повесть временных лет». Л., 1946, с. 39—52.

разум повинен внимать и наблюдать праведную славу целаго Отечества...» (4). Сам Ломоносов подробно описывал «Величество славянского народа»¹³⁹, размеры его владений и древнюю славу.

Осознание исторического значения народа начинало обнаруживаться яснее в тех случаях, когда историограф ставил перед собой задачу борьбы за национальное освобождение своего народа. Самым выдающимся явлением во всей славянской историографии в этом отношении было творчество Паисия, которого более всего занимали «деяния рода болгарскаго» (46).

Паисий не пускался в теоретические рассуждения о предмете историографии. Но свойственное данному периоду понимание этого предмета нашло четкое выражение в его историографической практике. Он писал свое сочинение «о пароде и о цре и о стых болгарских» (45). Изложение политической истории (внешних войн и феодальной борьбы) располагалось у него в основном по царствованиям, а изложение проблем духовной истории (письменности, культуры, вероисповедания) концентрировалось вокруг характеристик видных деятелей болгарской церкви.

Паисий писал свою «Историю» тогда, когда в Болгарии давно уже не было ни царей, некогда «самовластных» (58, 116), ни «свободы церковной» (138). Представление о Болгарии как о государстве было почти утрачено: болгары «привлекли на себе гнев бжий» и погубили свое «црство и гсдрство, и стали нижайши рабы турски и до сего дне» (126). Политический гнет со стороны Турецкой империи сочетался с духовным, а отчасти и экономическим гнетом со стороны греков. Старая феодальная иерархия болгарского общества была полностью разрушена, а новое буржуазное расслоение его только начиналось. Болгарская буржуазия, в это время еще слабая и несамостоятельная, ради своих торговых выгод эллинизировалась, воспринимала греческий язык, культуру и обиход, направляла детей в греческие школы и т. п.¹⁴⁰ Болгарские духовные традиции, обычаи и даже сам болгарский язык продолжали существовать и поддерживаться преиму-

¹³⁹ М. В. Ломоносов, т. VI, с. 293.

¹⁴⁰ См. История Болгарии, т. 1. М., 1954 [Под редакцией П. Н. Третьякова, С. А. Никитина, Л. Б. Валева], с. 208, 242, 243 (далее: История Болгарии).

щественно в тех общественных слоях, которые в этих тяжелейших условиях по самому своему положению имели наибольшую возможность (или — были вынуждены) сохранять свою самобытность. Это были главным образом крестьяне и монахи. Социальное и идеологическое своеобразие данного момента в болгарской истории, видимо, состояло в том, что духовные интересы столь различных общественных и культурных образований, как деревня и монастырь, оказались сближенными на национальной основе. Национальное самосознание болгарского народа получало опору также в тех духовных и культурных связях с другими славянскими народами (в особенности с русским и украинским), которые в этот период поддерживались монастырями¹⁴¹.

Позволим себе заметить, что без дальнейшего внимательного изучения этой общественной ситуации (такое изучение выходит за пределы настоящей работы) творчество Паисия едва ли найдет убедительное историческое объяснение. В изучении идеологии Паисия и содержания его «Истории» едва ли, кроме того, может быть достигнут существенный прогресс без попыток разграничения реальных возможностей автора и его субъективных взглядов, с одной стороны, и объективного значения его идей в последующем общественно-национальном и культурном развитии Болгарии — с другой.

Паисий с ненавистью относился к турецкому и греческому гнету. Он писал: «...турци исперво были свирепи и велики грабители», потом они несколько «престали и устидели» под влиянием христианства, но затем «паки, окаяни, в сие время не имеют никаква правда, ни суд» (120—121). Христианскую мораль хранят «простые» болгары, а не их единоверцы, образованные, но своекорыстные греки: «Болгарии прости всякого приимают и гощевают, и милостинию подаруют, а мудри греци то не имеют, но еще отимают и грабят от прости. И више грех от ныхна мудрость, а не полза» (48). С такой же ненавистью относился Паисий к эллинизирующейся болгарской буржуазии, клеймя ее позорной кличкой «отцеругатели» (49). Паисий со скорбью отме-

¹⁴¹ См. ценные исследования: Николай Дылевский. Рыльский монастырь и Россия в XVI и XVII веке [София, 1946]; Ив. Снегаров. Культурни и политически връзки между България и Русия през XVI—XVIII в. София, 1953.

чал, что грекофильское движение среди болгар было значительным: «...и много се от них обратили на греческая политика и учение, а за своя учение и языка слабо брежат» (142). Все сочувствие Паисия — афонского монаха было обращено к крестьянам — хранителям родного языка, обычаев, моральных принципов ¹⁴²: «... защо са болгаре прости, и нема от них много трговци и книжници, ... по ся повече от них прости ораче и копаче, и овчаре и прости занаятлии» (48). Эти взгляды на современное ему общество Паисий тотчас же проецировал в библейскую старину (для него, как и для многих историографов, она была стариной исторической), стараясь отыскать в ней необходимые для себя обоснования. Оказывается, «от Адама до Давида» и после него никто из библейских пророков и патриархов не был «трговец или прехитр-и грделив, како сегашни хитрци», но все они были «земледелатели и овчаре» (48). Бог же всегда миловал «ораче и овчаре, и наи прво них взлюбил на земли и прославил» (48).

Паисий трудился для народа: «... простим болгаром просто и написах» (158). «История» его была обращена к «препростим чловеком» (41). Но призыв его к национальному пробуждению не носил социально ограничительного характера. Он любил более всего крестьян, однако намечал программу возрождения для всей болгарской нации, включая и зарождающуюся в то время буржуазию. Паисий подверг эту эллинизирующуюся буржуазию очень резкой критике («О неразумне и юроде, почто се срамиш?»; «Но от що се ты, неразумне, срамиш от свой род и влачиш се на чужди язык?», 47) именно для того, чтобы попытаться вернуть ее на пути болгарского национального развития. Обращаясь к торговой буржуазии, Паисий доказывал: «Не имали никои прибиток в греческа мудрост и политика. Ты, болгарине, не прелщай се! Знай свой род и язык и учи ся по своему языку» (48).

Паисий мыслил не социально-политическими, а религиозно-историографическими категориями. Свои идеалы он развивал в общенародном (общенациональном), а не в социально-корпоративном направлении. В старину болгарские летописцы, по его мнению, писали «ради всего народа» (49), так же поступал и он сам. Поэтому едва

¹⁴² См. История Болгарин, с. 208, 242.

ли могут быть исторически обоснованными предположения о том, что Паисий выступал в качестве идеолога какого-либо одного класса (крестьянства или буржуазии), осознавшего свои интересы (в отличие от интересов другого класса), и что он сочинил свою «Историю» для борьбы за эти интересы. Такое условное и модернизированное социологическое построение не соответствовало бы реальной социально-исторической обстановке, окружавшей Паисия, его общественному положению и духовному облику, а главное — содержанию его «Истории».

Необходимо учитывать и еще одно немаловажное условие для анализа идеологии Паисия. Эта идеология, в том развитом виде, в каком она реально засвидетельствована в «Истории славеноболгарской», не могла быть готовым результатом непосредственного «выражения» идеологии каких-либо еще слабо дифференцированных социальных групп и их предполагаемых «вождедений»¹⁴³, а

¹⁴³ По мнению Хр. Христова, например, Паисий «является выразителем вождедений мелких производителей в городах и селах» (Хр. Х р и с т о в. Паисий Хилендарски и Българското Възраждане.— Сборник, с. 67); Д. Косев считает, что Паисий был первым идеологом «зарождавшейся болгарской национальной буржуазно-демократической революции»; при этом предполагается, что часть болгарской буржуазии (в середине XVIII в.) изменяет своему народу, попав под влияние буржуазии греческой, а другая «часть болгарской буржуазии, хотя еще малочисленная, экономически совсем слабая и политически не организовавшая, стоит на национальных позициях» (Дмитър К о с е в. За идеологията на Паисий Хилендарски.— Сборник, с. 31). Следовательно, предполагается, что могучие идеи Паисия возникли либо как отражение желаний «мелких производителей», либо на основе взглядов «совсем слабой» и малочисленной части буржуазии. Как бы ни были убедительны и полезны сами по себе предположения историков об идеологической дифференциации и о самом существовании этих социальных группировок в Болгарии в данное историческое время, главный их недостаток состоит в том, что они не вытекают из содержания «Истории» Паисия. Не следует забывать, что в свое время Н. С. Державин считал, что Паисий выступает «в качестве типичного идеолога поднимающейся национальной буржуазии, осознавшей себя уже как класс, как мощную силу...», «...уже окрепшей и хорошо материально и идеологически вооруженной...» и т. п. (Акад. Н. С. Д е р ж а в и н. Сборник статей и исследований в области славянской филологии. М.— Л., 1941, с. 102, 107); но такой буржуазии в Болгарии тогда не было, и вся эта вульгарно-социологическая концепция основывалась не на изучении болгарской истории и реального содержания сочинения Паисия, а на цитировании общих положений сочинения И. В. Сталина «Марксизм и национально-колониальный вопрос» (Партиздат, 1936).

Пансий не мог произвольно выбрать жанр «истории» только как удобное «средство» для выражения подобных «вожделений». Идеологическая зрелость Паисия наступила не до того, как он принялся за свой историографический труд, а возникала в процессе этого труда и в значительной мере под его влиянием. Его идеология формировалась постепенно на основе его социального опыта, опосредствованного опытом историографическим. Пансий не только заимствовал те или иные сведения или мнения у его предшественников-историографов. Глубоко проникаясь воззрениями и принципами славянской историографии, он сам становился видным ее представителем. По «обычаю» историографов Пансий учился искать в истории разгадки волновавших его событий современности, в историю же он переносил свои патриотические чувства и злободневные политические убеждения, сквозь призму истории стремился прозревать будущее своего народа. В этом отношении к Паисию может быть применен уже упоминавшийся нами важный принцип историографов, выраженный историографом царя Федора: «...от прешедших дел настоящее познаваем, а будущее (история.— А. Р.) разумом изобразует» (XXXVII). Поэтому и публицистические идеи Паисия, обращенные к его современности, следует изучать в связи с его историческими представлениями, а не в отрыве от них.

Пансий, несомненно, мечтал о возрождении государственной и церковной независимости Болгарии, ее былого величия и военной славы, о восстановлении болгарского национального достоинства, об обучении болгар на болгарском языке и о признании неоспоримых прав родного языка во всех сферах жизни. Яростно нападая на тех болгар, которые обращались к греческой культуре и политике, пренебрегали своим языком и традициями, он напоминал им о прошлом: «Или не са имали болгари црство и гсдьство? За толико [лета] црствовали и были славни и чуени [чесни, честни] по вся земля и много пути от римляни и от мудри грецы данок зимали. И давали им црве и кралеви свои дщери в супружество... И от всего славенскаго народа нан славни били болгари: перво се они црве нарекли, перво оны патриарха имели, перво они ся крстили, нан боле земля они освоили. Тако от свего народа словенскаго они силни били. И перви сты

славенски от] болгарски род и языка просиял» (47). В этих словах ярче всего высказаны исторические и политические идеалы Паисия.

В «Истории славеноболгарской» нет никаких предложений Паисия о возрождении Болгарии на новых социальных или культурных основах потому, что таких основ в окружавшей его среде не было. Нет в ней, да и не могло бы быть, никаких буржуазно-республиканских, философско-материалистических или естественно-научных идей, отличавших западноевропейские буржуазно-демократические движения XVII—XVIII вв. Программа Паисия заключалась в призывах к возрождению всего того, что, по его мнению, было необходимо для самостоятельной жизни Болгарского государства и что утратилось в нем в результате турецкого завоевания и греческого влияния. Объективно эта программа была обращена к современности и к будущему, но для самого Паисия формирование ее во многом было обусловлено изучением прошлого родной страны в свете общепринятых в его время историкографических идей.

Едва ли можно отрицать то обстоятельство, что впоследствии (примерно со второй четверти XIX в.) основные публицистические идеи Паисия стали отвечать определенным интересам и взглядам буржуазно-демократических сил Болгарии, причем в течение долгого времени эти идеи не столько изучались в их историческом значении, сколько выборочно использовались этими силами, так или иначе оценивались и в разное время по-разному обновлялись. По-видимому, нельзя не признать и того, что само появление подобной идеологии у Паисия свидетельствовало о зарождении первых элементов этого буржуазно-демократического движения в середине XVIII в. Но на пути такого, ставшего уже почти традиционным, объяснения идей Паисия возникают существенные исторические затруднения. Возникает прежде всего вопрос: почему же между «Историей» Паисия и теми деятелями болгарского Возрождения, которые считаются его последователями, такой большой разрыв во времени? Ведь эти деятели только родились через два-три и более десятилетий после написания Паисием его «Истории» (например, Н. Бозвели родился около 1783 г., К. Фотинов — в 1787 г., Н. Рильский — в 1793 г., К. Огнянович — в 1798 г., Х. Павлович — около 1804 г., Г. Раковский — в 1821 г., П. Сла-

вейков — в 1827 г., Д. Войников — в 1835 г.). Младший современник Паисия Софроний Врачанский (Стойко Владиславов), познакомившись с Паисием, в 1765 г. в г. Котеле с благоговением переписал его «Историю», но его собственная литературная деятельность развернулась в первые годы XIX в. Спиридон написал свою «Историю» в 1792 г. Возникает также вопрос и о том, почему же Паисий, так далеко отстоявший хронологически от своих продолжателей, смог сформулировать свою идеологическую программу с такой необыкновенной полнотой и четкостью? Почему идеи Паисия не только стали образцовыми задолго до начала болгарского движения за национальное возрождение как определенного общественного явления, но и не были превзойдены по своему блестящему выражению и публицистической силе в трудах его ближайших последователей начала XIX в.? Эти вопросы подлежат, конечно, дальнейшему углубленному изучению. Однако уже предварительно можно признать тот факт, что национальное чувство, политическое чутье и опыт историографического исследования, органически объединившись в сознании Паисия, позволили ему заметно опередить свое время. В этом отношении идеологию Паисия можно сопоставить с идеологией московских летописцев конца XIV — начала XV вв., объединительные государственные идеи которых «опережали реальный ход борьбы за создание централизованного государства»¹⁴⁴. Эти идеи уже высказывались в тот период, когда борьба Московского княжества с татарским игом и с феодальными тенденциями других русских княжеств была ближе к своему началу, чем к завершению.

Историографические и народные предания о славном прошлом Болгарии стали для Паисия исходным пунктом в его мечтах о ее будущем, а болгарский народ (в смысле общенациональном) был единственным адресатом его страстных призывов и его историко-публицистического труда¹⁴⁵.

Для представления о национально-демократическом характере историографической «прагматологии» Паисия сле-

¹⁴⁴ История русской литературы в трех томах, т. 1 (Литература X—XVIII веков). М.—Л., 1958, с. 186 (автор главы Б. Н. Путилов).

¹⁴⁵ В ряде существенных моментов нам близка концепция В. Топенчарова о народном характере идеологии Паисия. См. Владимир Т о п е н ч а р о в. Портретът на Паисий. София, 1961 (далее: В. Т о п е н ч а р о в).

довало бы проследить, каким образом он обрабатывал в этом плане тексты своих источников. Ссылаясь, например, на Мавро Орбини, Паисий указывал, что греческие историки «... не писали храбрива поступки и славная деяния цррей и народа болгарскаго» (50). В источнике эта мысль выражена иначе: «... о многих околнностях, належаших ко храбрым поступкам болгарским противу оных царей, умолчали» (289). Орбини говорил о значении действий болгар против греческих царей, Паисий же настаивал на славных деяниях своих «царей и народа».

Прославляя военную доблесть болгар, Паисий опирался на авторитетный источник: «Пишет Барон в первая часть Барония, на лист 567: „Богари страшни всему мира. Мал народ, но непобедим“. Тако и греци пишут в ныхны истории: „...Тяжкий народ болгарский, непобедими в бранех...» (56—58). Цезарь Бароний признавал военную славу болгар, но говорил в данном случае как раз об их поражении: римскому королю «Феодорику» бог даровал «великия победы... Болгаров, всему миру страшных, Толюсом, воеводою своим, в Паннонии порази...» (I, 569)¹⁴⁶. Идея о народе малом, но непобедимом принадлежала самому Паисию. Эти идеи Паисий облакал в стилистические формулы, свойственные славянской историографии. Например, в «Синописе» о славянском народе говорилось в таком же стиле: этот народ «страшен и славен всему свету бысть» (2), «прост и силен народ в воинских делах упражняшесь» (11 об.).

Паисий писал о древних болгарях, что они были «бестрашны и силны на войска како лвове» (56); «Знаменне на печат црски имейли изображение лвово. То знаменует, како был народ болгарски силен на бран и войска, како лви...» (125). Подобные образы также были известны славянской историографии (а еще ранее — широко распространены в традиции русских воинских повестей)¹⁴⁷. В «Син-

¹⁴⁶ При ссылке на 567 лист первой части русского издания Барония Паисий (или его переписчик) допустил небольшую ошибку: трансформированная им цитата находится на л. 569. См. В. Велчев, с. 93.

¹⁴⁷ См. А. С. Орлов. Об особенностях формы русских воинских повестей (кончая XVII в.). М., 1902, с. 30; ср. в нашем издании повестей об Азове, где казаки говорят туркам: «Да и такие ево государевы люди руския украинцы, что они жестоки на вас будут и алчны, аки львы яростныя и неукротимые, и хотят поести

нописе» при описании турецкого похода под Чигирин (1678) говорится: «Бусурмане же видяще толикую нечаемую в христианских воех храброст и мужественное сердце их, аки сердце льва на лов готового, абие нечестивыи падше в страх и трепет...» (118 об.).

В изложении событий внутренней истории Болгарии Паисий обращал внимание на своеобразную дифференциацию ее движущих сил. Политику у него вершат цари и феодалы («велможии», «боляре», «барони»), но решающее значение принадлежит не феодалам, а «болгарам» в целом, и именно они являются носителями высшей справедливости¹⁴⁸. «Болгары» распоряжаются судьбами престола: «Учинили болгари себе краля Тривелия» (64); «Болгарии же поставили на црство Тагана» (67); «Болгарии же прогнали Тагана и поставили на црство Телерика» (68); «А болгарии поставили на црство Кардама» (69), «Но болгарии поставили на црство Костандина Шишмана» (99) и т. п.

В «Синописе» также отмечается роль народа в историческом процессе, но там действия его значительно менее активны, чем у Паисия. Так, в «Синописе» говорится, что Рюрик со своими братьями получили «от всех россов... государство Руское доброволно от народа доброволно поданое...» (14), Владимир Мономах «умолен от всех, прииде... и седе на престоле в мире со всемирною радостию» (57) и т. п.

Паисию, как и всем славянским историографам, был свойственен христианский провиденциализм¹⁴⁹. «Последни, егда насилели чеда агарины и измаилеви, и попустил бг турком и много црства одолели и покорили, тогда и црство болгарское коонец восприяло и пало под област агаренскою» (119). Эти провиденциальные формулы ближе всего стоят к изложению «Синописиса», где, например, говорится о завоевании Киева татарами (1240) так: «... татаре... царственный град Киев взяша, церкви божественныя разориша, город и место огнем сожгоша, людей иных посекоша, а иных плениша, и все государство Киевское ни во ято обвашу живую плоть босурманскую» (Воинские повести древней Руси.— Литературные памятники. М.— Л., 1949, с. 69).

¹⁴⁸ См. Б. П е н е в, с. 29.

¹⁴⁹ См. Борис Й о ц о в. Паисий Хилендарски като философ на историята.— Отец Паисий. Година VII, София, 1934, януарий, с. 8—12.

ратиша. Богу тако грех ради человеческих попустившу» (69 об.).

В качестве паправляющей силы исторического процесса, кроме бога, в архаических сочинениях славянских историкографов выступает обычно дьявол. Так, у Паисия: «Таково блгочестие и мир не возмогл зрети днавол в Болгарию, но воздвигл завист па цря Асена» (95). В «Синописе» дьявол помогает туркам в их походе на Украшну (1677): «... поущением ненавистника роду христианскаго... турецкий солтан устремився на православно-российский край...» (114), «... днавол от обилия своея злобы» удерживал турецкие войска от «намереннаго бегства...» (119 об. — 120).

Когда «деяния» монархов отвечали божественному предначертанию, то все обстояло благополучно. Паисий любил отмечать это обстоятельство: в древности болгарские цари были «силны и благополучны...» (59), «... Кардам был благополучен и непреодолен» (69), Тривеллий «был благополучен, веледушен, мудр...» (126), и т. п. Подобно этому, в «Синописе», например, указывалось, что после победы над татарами (1380) Дмитрий Донской «седе на своем княжении во всяком благополучии» (103), а предполагавшаяся скорая победа над Турцией должна была укрепить «благополучное царствование» (228) в России. Так же и в «Повести известной» о великих князьях московских говорится: «От Василия же родился Иоан храбрый (Иван III. — А. Р.), счастливый и благополучный, иже агарянское насилство испроверже и темную их власть разруши и победы» (371 об.).

Свойственный славянским историкографам провиденциализм получает у Паисия своеобразную направленность. По его представлениям, исторические победы болгар одерживались тогда, когда «воля божия» проявлялась в виде народного единения: «И стекл ся народ болгарски како един члвек в Терново единодушно на помощь Асену. И послали влашки господари... войска... То было воля божия с Асена. И отмстил греком сугубо обиду и озлобление...» (90). И наоборот, бог оставляет Болгарию тогда, когда ее единение разрушается феодальной борьбой в царской семье: «В то время Страшимир и Шишман имели распря между себе... видели греци и турци несогласие болгарское. И востал Мурат паки... с войска на Болгарию... и вся Болгария попрали и освоили... и попустил

бог турком...» (116—119). Несомненно, это был провиденциализм не феодального, а своеобразного национально-демократического сознания начала переходного периода, вполне отвечавший общим «прагматологическим» воззрениям историографов.

* * *

В системе «прагматологических» воззрений историографов особое значение приобрела проблема происхождения славянских народов, которая, по существу, является одной из основных проблем славистики всех времен.

Все историографы, как мы уже видели, стремились описать историю своего народа от самого «начала». В чем же состояло оно по их представлениям?

Проблема славянского этногенеза живо интересовала Паисия. Он подробно писал о том, как Ной разделил землю между тремя сыновьями, причем Афету «заповедал» населить Европу. Сына Афета звали Мосхос: «На негово племе пал и разделил ся наш славенский язык и звал ся Мосхосов род» (54). Эти взгляды Паисия мало привлекали внимание ученых и обычно оценивались лишь в самой общей форме, а иногда серьезным исследователям почему-то представлялись несущественными: «За всекищо — годе сериозен човек е ясно, че фантастичното библиейско дърво и Ной и Яфет са у Паисия не съществена подробност...»¹⁵⁰. В действительности, однако, эти представления Паисия полностью отвечали очень важным этногенетическим воззрениям славянской историографии, в которых следует разобраться подробнее.

Происхождение человечества рисовалось воображению летописцев, а затем историографов как непрерывное разветвление буйно растущего феодально-генеалогического древа, корни которого уходили в библейскую старину. Обращение к библейскому преданию было неизбежной формой утверждения идеалов национального самосознания славянских народов. В данный период без этого предания ни выход славянских народов на арену мировой истории, ни представления о единстве их происхождения не могли бы получить убедительного для общества объяснения и обоснования. Задача каждого историографа со-

¹⁵⁰ В. Топенчаров, с. 128.

стояла в том, чтобы из единого славянского ответвления на этом библейском древе вывести особую веточку для своего народа. Идеологическая потребность в такой работе возникала тогда, когда то или иное славянское государство переживало период расцвета или стояло на пороге национального возрождения.

На основе переработок сначала византийско-православных, а затем, частично, и римско-католических историографических традиций постепенно возникали, развивались и сменяли друг друга различные теории славянского этногенеза. Каждая из этих теорий помогала историографам занять для своего народа почетное место в признанной мировой системе народов, а для этого прежде всего отыскать его предков в библейской или околобиблейской древности, вывести этих предков из Вавилонии в Европу и расселить их по странам исторического обитания данных народов.

Первоначально возникла «балканская» теория (путь славян: Вавилония — Иллирия — славянские страны), основанная крупнейшим киевским летописцем Нестором (в системе народов он прибавил славян к иллирийцам: «Ил-люрик, Словене» — и писал: «...сели суть словене по Дунаеви»¹⁵¹) или его предшественниками в тот период, когда Киевская Русь возмужала и как «империя Рюриковичей» смогла идеологически противопоставить себя Византийской империи. Эта теория, основанная на южнославянских и восточнославянских культурно-политических традициях, связанных с православно-византийским идеологическим наследием, была принята сначала (XIII—XIV вв.) во всей славянской историографии, в том числе польской и чешской. Однако после падения Руси под ударами татарского нашествия и падения Византии со всем славянским югом из-за турецкой экспансии, с одной стороны, и в результате все большего возвышения Польши, а затем — Польско-Литовского государства — с другой, «балканская» теория постепенно утрачивает актуальность и к XV—XVI вв. вытесняется «сарматской» теорией (Вавилония — Кавказ — Дон — Сарматия — славянские страны), поддержанной итальянско-католической историографией. К этому же времени под влиянием немецкой историографии начинает распространяться «вацдальская» тео-

¹⁵¹ Повесть временных лет, с. 10, 11.

рия, объединявшая славян с германцами и получившая впоследствии своеобразное южнославянское ответвление (Вавилония — Скандинавия — Сарматия, затем — славянские страны)¹⁵². В XVII и XVIII вв. эти теории начали все более смешиваться и варьироваться, обслуживая национальные интересы историографов отдельных стран. Развитие теорий славянского этногенеза находилось в прямой зависимости от общего развития того или иного ответвления национальной славянской историографии.

В XVI в. высокого уровня достигает чешская историография. Появляется целая серия исторических сочинений Даниила Адама из Велеславина («*Historia Bohemica*»), Бартоша Писаря, Сикста из Оттерсдорфа и, наконец, известного Вацлава Гаека (ум. 1553), хроника которого, уснащенная «баснословием» и написанная народным языком, пользовалась широкой популярностью¹⁵³. Однако еще больших успехов достигает польская историография, которая в период польского Возрождения приобретает общеввропейское значение¹⁵⁴.

Польские историографы «следовали в большей или меньшей степени методологии гуманистов... Однако в самой гуманистической истории (автор имеет в виду Леонардо Бруно, Поджо Браччолини, Лоренцо Валла и Флавио Биондо.— *A. P.*) компиляторские навыки средневековых хронистов преодолевались лишь постепенно... К истокам человеческой истории по-прежнему преграждала путь библия»¹⁵⁵.

¹⁵² См. Л. Нидерле. Славянские древности, т. 1, ч. 1. Киев, 1904, с. 4—69; его же. Славянские древности. М., 1956, с. 19—20; Н. К. Никольский. Повесть временных лет как источник для истории начального периода русской письменности и культуры, в. 1. Л., 1930, с. 68—77; А. Шахматов. Повесть временных лет и ее источники.— Труды Отдела древнерусской литературы, Институт литературы (Пушкинский дом), т. IV, М.—Л., 1940, с. 41—62; T. Ulewicz. Sarmacja. Studium z problematyki słowiańskiej XV i XVI w. Kraków, 1950.

¹⁵³ К сожалению, мы не имели возможности в достаточной мере привлечь к настоящей работе ценные чехословацкие историографические материалы.

¹⁵⁴ См. История Польши, т. 1. Изд. 2-е, под редакцией В. Д. Королюка, И. С. Миллера, П. Н. Третьякова. М., 1956, с. 120—140, 202—221, 273. Об отношениях между чешской и польской историографией. см.: Frank Wollman. Slovanství v jazykově literárním obrození u slovanů. [Praha-Bрно]. 1958, с. 21—22.

¹⁵⁵ И. Н. Голенищев-Кутузов. Итальянское Возрождение и славянские литературы XV—XVI вв. Диссертация на

. Еще задолго до периода расцвета польской историографии В. Кадлубек (ум. 1223) заложил основы библейской генеалогии поляков: «Eatenus Poloni sunt de stirpe Japhet, qui fuit filius Noe».¹⁵⁶ Потомки Иафета Лех, Рус и Чех стали прародителями славянских народов. Знаменитый Ян Длугош (ум. 1480), стоявший на перепутье между средневековым летописанием и историографическими сочинениями нового типа, уточнил эту теорию: «Itaque Negno omnium Sclauorum parens egressus de campo Sennar, transit a Cbaldae, Graesaque circa Ponticum mare, et fluuium Istrum...»¹⁵⁷. Уже Длугош вспомнил о Мосохе из Каппадокии: «De Mosoch filio Iaphet Cappadoces, quorum metropolis Masaca...»¹⁵⁸. В недрах этой историографии, по мере все большего возвеличивания древних «предков» славян, все большего перенесения современных успехов славянских стран в легендарное прошлое на основе пышного развития «сарматской» теории, возникает как ответвление этой теории идея, которую мы условно обозначим — «Мосох — Москва»¹⁵⁹.

В гуманистической польской историографии боролись различные идеологические течения, и первоначально идея «Мосох — Москва» занимала среди них периферийное положение. Но постепенно, несмотря на скептические предупреждения защитника «сарматской» теории, ученика гуманистов и противника реформации Мартина Кромера¹⁶⁰, идея «Мосох — Москва» начинает выдвигаться на первый план и, наконец, сама становится основным звеном «сарматской» теории. Она овладевает воображением тех историографов, которые разрабатывают отечественную исто-

соискание ученой степени доктора филологических наук. Л., 1960 с. 617 (рукопись хранится в Гос. библиотеке СССР им. В. И. Ленина), (далее: И. Н. Голенищев-Кутузов); в настоящее время книга печатается.

¹⁵⁶ Vincentii Kadlubek, episcopi cracoviensis, Historia Polonica, in eamque commentarius. В кн.: Ioannis Dlugossi seu Longini canonici quodam Cracoviensis Historiae Polonicae libri XIII et ultimus. Lipsiae, 1712, p. 596; см.: Н. Зейсберг. Die polnische Geschichtschreibung des Mittelalters. Leipzig. 1873, S. 197.

¹⁵⁷ Ioannis Dlugossi. Указ. изд., libri XII, 1711, p. 5.

¹⁵⁸ Ioannis Dlugossi. Указ. изд., p. 4.

¹⁵⁹ Вероятно, начиная с первой на польском языке хроника М. Бельского (ум. 1575 г.), изданной его сыном в 1597 г.; ср. И. Первольф, т. 2, с. 120.

¹⁶⁰ См. Martini Cromeri. De origine et rebus gestis Polonorum, libri XXX. Basileae, per Ioannem Oporinum, 1555, p. 14—15.

рию с позиций, несколько более архаических, даже провинциальных по сравнению с латинско-гуманистическими историографами¹⁶¹, но ближе стоящих к национальным преданиям славянства, к реформации и народному языку. Эта идея признается М. Бельским¹⁶², производит впечатление на С. Сарницкого¹⁶³ и особенное развитие получает у польско-литовского историографа М. Стрыйковского¹⁶⁴, который не только усердно собирал летописи, но также обильно пользовался народными легендами¹⁶⁵.

Теория «Мосох — Москва» покоилась на трех произвольно принятых и произвольно объединяемых элементах: во-первых, на убедительной для историографов символической этимологии (по созвучию этих слов), во-вторых, на аксиомах Библии, в которой Мосох упоминался как шестой сын Иафета (Бытие 10,2), а пророк Иезекииль предлагал «сыну человеческому» обратить лицо свое на землю «князя Росска, Мосох...» (38, 2—3)¹⁶⁶, и в третьих, на непреклонном желании вывести славян из библейской колыбели народов — Вавилонии. Связующее звено для этих трех элементов быстро нашлось — это было мнение Иосифа Флавия, который вывел легендарного Мосоха за пределы библейского текста и дал первый толчок для движения его потомков на север. Прославленный древне-

¹⁶¹ См. И. Н. Голенищев-Кутузов, с. 517, 518, 625, 628; см. здесь характерное и важное наблюдение: «Романтики времен Мицкевича были читателями повествований Мацея Стрыйковского» (625).

¹⁶² Kronika Polska Marcina Bielskiego. Nowo Przez Ioach. Bielskiego syna iego wydana Cum Gratia et Privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Jakuba Sibeneychera. Poku Panskiego, 1597, s. 14.

¹⁶³ Stanislaw Sarnicki. Annalium polonicorum. Liber primus. Caput II (в кл.: Joannis Długossi seu Longini canonici quondam Cracoviensis. Historiae Polonicae. Lipsiae. Anno MDCCXII), p. 841—858) (первое издание «Апшалов» Сарницкого в Кракове, 1587); см. Т. Улевич. Указ. соч., с. 120,—131, 188—191.

¹⁶⁴ Kronika Polska, Litewska, Zmodzka i wzyistkiej Rusi... przez Macieia Osostewiciusa Strykowskiego... Drukowano w Krolewcku i Cezzego Osterbergera MDLXXXII, t. 1,2; см. т. 2, с. 91—101 (далее: Kronika Polska).

¹⁶⁵ См. Всеобщая история литературы, составлена по источникам и новейшим исследованиям при участии русских ученых и литераторов. Начата под редакцией В. Ф. Корша. Продолжается под редакцией проф. А. Кирпичникова, т. 3, ч. 1. СПб., 1888, с. 87.

¹⁶⁶ Библия. М., 1663.

еврейский историк и писатель свидетельствовал, что «... от Мосоха произошли мосхи, именуемые ныне капподокпичамп. Сего древняго их названия ясной имеется довод: ибо находится у них и по ныне град, называемый Мазака»¹⁶⁷. После этих утверждений дальнейшее перемещение потомков Мосоха на север и присвоение его имени другому далекому городу (Москве) не представляло для историографов никаких затруднений. Им не хватало только еще одного звена — признания «мосхов» славянами. Это звено и было найдено польской историографией, присоединившей идею «Мосох — Москва» к своей прежней славянской «сарматской» теории.

Так постепенно развивались взгляды историографов на происхождение славянских народов путем количественного накопления желательных «свидетельств», этимологий и домыслов, наращивающихся на прежнюю основу, восходящую к глубокой древности. Матвей Стрыйковский тщательно собрал и обобщил «свидетельства» о Мосохе, мосхах и Москве, ссылаясь, помимо Иосифа Флавия, на авторитеты Бероса, Ксенофонта, Геродота, Птолемея, Плиния, Тацита, Страбона, на «Древности библии», на «новейших» историографов — Кадлубка, Анонима Галла, Длугоша, Кромера, Меховского, Бельского и многих других историографов всех времен (еврейских, халдейских, греческих, латинских, польских, немецких, итальянских и чешских)¹⁶⁸. Количество этих ссылок, частью правильных, частью ложных, казалось, призвано было затмить в сознании самого историографа и его читателей сам факт механического объединения разнородных источников и сведений. Создавалось впечатление всемирного признания происхождения Московского государства от Мосоха. Высокая авторитетность привлекаемых имен историков древности, а главное — политическая целенаправленность самой идеи надолго обеспечили этой теории полную победу в славянской (особенно — восточнославянской) историографии.

Возражая впоследствии против этой теории, Татищев пытался указать на феодально-политические причины ее

¹⁶⁷ Иосифа Флавия Древности иудейския с латинского на российский язык преложенные придворным священником Михайлом Самуйловым, ч. 1. СПб., 1779, с. 14.

¹⁶⁸ Kronika Polska, с. 91—92.

появления в польской историографии: в те времена, когда Русь была под татарским игом, а «Малая Русь» отошла к Польше, польские историографы будто бы хотели «славу рускую и честь государей умалить», они не давали им русский великокняжеский титул, «равняя их с удельными князи; по Москве, граду престольному, московскими именовали...» (386). Действительно, еще Орбини подтверждал, что «Славяне российстин суть ныне от иноземцов общезовомы москвитяне» (68).

В XVI в. политическая обстановка в Восточной Европе изменилась: «Потом — продолжает Татищев, — как они сего силою удержать не могли, то они употребили лестное коварство ко прельщению, стали в историях выводить, якобы сие имя, от Мосоха, сына Афетова, происшедшее, есть старее, нежели от Росса, Езекиела, как Кромёр кн. 2, гл. 10...» (386). Трудно сказать, разгадал ли Татищев «коварство» польских историографов, но внешние обстоятельства смены их взглядов на Московское государство он изложил верно. Решающим фактором образования теории «Мосох — Москва» была сама эпоха, когда Западная Европа внезапно увидела на своих восточных окраинах вместо поработанной татарами страны быстро возмужавшую огромную империю во главе с Москвой.

Под давлением этих исторических и политических обстоятельств новая теория «Мосох — Москва» (в изложении Стрыйковского) кладется в основу прежнего варианта «сарматской» теории и подчиняет себе остатки одного из вариантов «балканской» теории, продолжавшей бытовать в историографии в виде предания о родоначальниках славянских народов братьях Русе, Лехе и Чехе, пришедших откуда-то с юга, из Хорватии. Стрыйковский писал: «Wszakże to iest naupewnieyszy fundament, iż iako od inszych synow Noego y ich potomkow insze rosmnożone są różne narody, tak też od Mosocha Patryarchy naszego, szostegò syna Jafetowego, y od iego potomkow Rusa, Lecha, y Czecha, wszyscy Rusacy, Moskwa, Bulagrowie, Czechowie, y ile ich kolwiek sławanskiego ięzyka pod Niebem używa, prawdziwy wywod y początek narody mają»¹⁶⁹. Это признание польской историографией (уже пережившей к концу XVI в. пору своего расцвета) Мосоха не только «праотцем» москвичей, но и «патриархом» всех славянских на-

¹⁶⁹ Kronika Polska, с. 91.

родов стало той огромной, хотя и невольной, услугой, которую она оказала расцветающей во второй половине XVII в. историографии Украины и Московского государства.

Политическое значение теории «Мосох — Москва» обнаруживается достаточно ясно при выяснении условий, сопровождавших ее проникновение из польской историографии в украинскую. Общие взгляды польских историографов на древнее происхождение славян и их великую историческую «славу» были восприняты украинскими публицистами первой половины XVII в. и сразу же использованы ими в их ожесточенной полемике против идущего из той же Польши римско-католического влияния и влияния церковной унии, которые выступали в качестве основного средства духовного порабощения украинского народа.

В своей рукописной «Палинодии или Книге обороны» Захария Копыстенский (1622) повторял предание о разделении земель между сыновьями Ноя и версию о происхождении славян от «Яфета». Он писал, что «народ яфеторосский славенский был неусмиранный и волный», был всегда «славен, для чого и славенским был назван»; этот народ стал известен до Троянской войны, служил Александру Великому, и даже Август-кесарь старался не «дражнити войною сарматов, то-есть россов, або славян»¹⁷⁰. Эти рассказы были заимствованы автором из польских хроник М. Стрыйковского и А. Гвагини. Однако, привлекая из польских хроник весь этот традиционный комплекс преданий о древних славянах, Копыстенский по собственной инициативе возводит «россов» (т. е. украинцев) прямо к Яфету, минуя его сына Мосоха, а вместе с ним и всю известную ему по тем же источникам теорию «Мосох — Москва», поскольку пора политической актуальности для нее еще не наступила.

К середине XVII в. в связи с бурным ростом национально-патриотического самосознания украинского народа возрождается и развивается украинская историография.

¹⁷⁰ Памятники полемической литературы Западной Руси, кн. 1. Русская историческая библиотека, т. IV, СПб., 1878, столб. 1101—1103; см. И. П. Е р е м и н. Борьба за национальную независимость в украинской литературе XVI—XVII вв.— Труды юбилейной научной сессии, секция филологических наук, ЛГУ, 1946, с. 235—236.

«Звернення до героїчного минулого українського народу, — справедливо указує М. І. Марченко, — до показу його боротьби з татарами, німецькими рицарями, польським та литовським панством служило політичній меті могутнього соціального і національно-визвольного руху проти шляхетської Польщі..., національного оборонного руху козацтва проти Туреччини, Кримського ханства та інших зовнішніх ворогів»¹⁷¹. Воссоєдинення України с Росією різко змінює політичну обстановку, в результаті чого в українській історіографії теорія «Мосох — Москва» отримує широке визнання.]

Михайл Лосицький супроводжує Густинську літопись основаним на польських джерелах введенням етногенетичного характеру: «Літописец... о нашем российском народе, от коего колена израсте, и како и когда в сия страны вселися, и чeso ради Русью наречеса».¹⁷² В цьому цікавому пам'ятнику історіографії польська «сарматська» теорія походження славян представлена уже в українсько-російському варіанті. Імівшеся у Стрийківського посередуюче звено між «патріархом» Мосохом і пізнішими славянськими народами, представившеся в формі потомків Мосоха, родоначальників цих народів Руса, Леха і Чеха, тепер стало з'являтися, і на його місце було вставлено нове посередуюче звено — Москва (як назва народу, а не тільки міста): «От Мосоха... наш народ словенський изыде и Мосхинами, си есть Москвою, именовася и от сея Москвы все самарты (ошибка: сарматы.— А. Р.) Русь, Ляхи, Чехи, Болгаре, Славяне изыдоша» (8—8 об.). Таким чином «Москва» замість одного з відгалужень в числі народів, ведучих свою генеалогію від Мосоха, стає основою цієї генеалогії, і теорія «Мосох — Москва» отримує принципово нову суспільно-політичну орієнтацію.

С підвищенням московської державності розсудження історіографів о «праотці» Мосохі закономірно при-

¹⁷¹ М. І. Марченко, с. 34.

¹⁷² Для характеристики відношення істориків нового часу до славянської історіографії показателем той факт, що названий «Літописец», займаючий листи 2—22 рукопису Густинської літописі, був виключений з видання при її публікації. (Полное собрание русских летописей, т. 2, СПб., 1843), як не входящий «в состав русских летописей» (указ. изд., с. 231); цитується нами по рукопису. ГБЛ, Ф. 205, № 118.

водят их к объявлению Москвы европейской прародиной всех славян. Первоначально эта идея созревает на Украине, стремящейся к национальному освобождению при помощи Москвы. Описания Москвы начинают все более привлекать внимание украинских историографов. В «Кройнике» Софоновича отмечается, что «взяла теды Москва имя свое от Мосоха... Москва, — говорится далее, — есть место барзо великое, большое далеко низ в чехах Прага, а есть головою и столицею всей Руси белой» (257—258 об.). В «Синописе» рассказывается подробно (на основании польских хроник) о том, как «племя Афетово» храбростью превзошло все народы и названо было «славянами» от «славных дел своих», а князь «словенороссийский Одонарец» овладел Римом¹⁷³ и т. п. Мосоху здесь уделено громадное внимание. Потомки его будто бы двинулись из Малой Азии «в полунощные страны за Чорное море, над Доном и Волгою реками...» (8). От Мосоха, «праотца славенороссийскаго», произошла «не токмо Москва, народ великий, но и вся Русь или Россія...» (8 об.), он был якобы предком «великих и множественных народов московских, славенороссийских, полских, волынских, ческих, болгарских, сербских, карвацких, и всех обще, елико их ест, славенска языка природне употребляющих». (8).

Огромный хронологический разрыв между библейским Мосохом и исторической Москвою преодолевался в «Синописе» весьма просто: Москва была городом, названным так по имени реки, над которой она стоит, городок этот был «незнатен», имя же Мосоха, «аще оно и издревле вестно древним летописцам бе, обаче на мпозе и в молчании пребываше». Но потом «град Москва прославися, и прародителное в нем имя Мосоха в народе российскийском обновися» (9).

Автор «Синописиса», киевлянин, стремился довести свою версию о Мосохе непременно до начала конкретной

¹⁷³ Об этом германском военачальнике (из племени скиров) Цезарь Бароний писал: «Бе Одоакр король ерулов, парода и языка неведомо каковаго...» (ч. 1, л. 565 об.); Мавро Орбини считал, что «Одоакр был ругянин славянин» (91); Ломоносов называл Одоакра в числе готских королей «из Ругии» и писал, что «...во многих военных предиритиях от Севера главные военачальники были славенского народа, как Одоацер...» (42, см. 52). На фоне этих суждений мнение автора «Синописиса», основанное на некоторой «руссификации» польских источников, не выглядит анахронизмом для своего времени.

истории своей родины: основатели Киева Кий, Щек и Корев с сестрой их Либедью пришли «с славяны», и были они тоже «рода все Афетова и племени Мосохова» (11 об.).

Развивая теорию «Мосох—Москва», автор «Синописа» стоял еще на общих украинско-русских этногенетических позициях. В эту пору украинская историография играла важную роль посредника между одряхлевшей уже историографией Польши и зарождающейся историографией России. Но в XVIII в., когда польский феодальный гнет сменился на Украине все возрастающим гнетом русского самодержавия, а украинское дворянство стало бороться за свои собственные привилегии, эта теория почти совсем исчезает со страниц украинских историографических сочинений. Некоторые украинские историографы начали вести свою генеалогическую веточку от прежних корней, но в несколько ином направлении. «Сарматская» теория стала служить объяснением происхождения украинского народа как потомков якобы очень древнего по своей истории запорожского казачества. Казачий гадячский полковник Григорий Грабянка писал (1710), например, что «народ малороссийской страны, нарицаемый козаки», ведет свое начало «от древнейшаго рода скифска», называемого «аляни» или «козари» и «идушаго от племени первого афетоваго сына Гомера»¹⁷⁴. От читателей Грабянки, его современников, никак не могла укрыться политическая тенденция подобной генеалогии, поскольку в их представлениях предложенное историографом происхождение казаков от первого сына Иафета Гомера было гораздо почетнее, чем общеизвестное утверждение о происхождении «Москвы» от его шестого сына Мосоха. Эти потомки Гомера «аляно-козари», продолжал Грабянка, заняли когда-то территорию будущей Украины, часть их пошла потом на юг «даже до Панонии», другая часть распространилась до Волги и «нарекошася болгары», которые затем пошли на Дунай (3). По этой версии, европейской прародиной славян становилась Украина, а основными их предками были объявлены казаки. По более позднему мнению А. И. Ригельмана (1785), запорожские казаки — это славяне «альянского роду», предками их были будто бы те «косаки»

¹⁷⁴ Григорий Г р я б я н к а. Действия презельной и от начала поляков крвавшой небывалой брани Богдана Хмельницкого... року 1710. Киев 1854, с. 3.

(касоги), «начальника которых Редедю победил в единоборстве князь Мстислав. Этнически они обособились и закрепили за собой свое древнее местообитание, так как это была «только некоторая часть сарматского, произошедшего от славянского народа, от коих в роды живших в здешних местах оное осталось»¹⁷⁵.

Украинская историография этого времени отличалась тонким политическим чутьем. Защитник автономных интересов казацкой старшины, европейски образованный Петр Симоновский (1765) тоже обособлял происхождение казаков: он считал, что «козаки есть род скифославянский» (1). Укрепляя этот «казачий» вариант «сарматской» теории, он тоже умалчивал о ее важнейшем звене «Мосох—Москва». Однако, когда в эти же годы другой представитель той же социальной среды, Г. А. Полетика, отправлялся в столицу России, чтобы там защищать интересы украинского дворянства, и брал с собою для подкрепления своих взглядов «Историю русов» (возможно, лишь в первоначальных ее набросках), то в этом случае умолчать о Мосохе было бы неосмотрительно. В «Истории русов» говорилось, что славян называли «по князю Мосоху, кочевавшему при реке Москве и давшему ей сие название, московитами и мосхами...» (2). В подобных утверждениях автор не желал ссылаться ни на польских историографов, которые положили им начало, ни на русских историографов XVII—XVIII вв., которые их продолжили. Он прямо относил эти взгляды к ничего общего с ними не имевшему киевскому летописцу «Нестору Печерскому». Оказывается, авторитет Нестора, его «последователей и предшественников, ту историю писавших», особенно возвышался потому, что все они (по воле автора) «были академики или члены того славнаго училища, которое во славянах заведено было в городе Киеве Кириллом, философом греческим, скоро по введении туда религии христианской» (1). Официальная миссия Г. А. Полетики, а вместе с нею и идеологическое назначение «Истории русов» подтверждали тот факт, что во второй половине XVIII в. все эти фантастические сочинения пользовались самым серьезным вниманием и даже могли так или иначе использоваться в политической борьбе.

¹⁷⁵ А. Ригельман. Летописное повествование о Малой России и ее народе и о козаках вообще. М., 1847, с. 8—9.

Русская историографическая мысль переживала в XVII в. глубокие изменения, отражающие общие социально-идеологические и культурные перемены той переходной эпохи, которая была уже преддверием петровских реформ, несла в себе начало элементов гуманистических влияний и проблесков подлинного Возрождения, немало усилившихся в XVIII в. и превратившихся, как полагают некоторые исследователи, в движение «русского Ренессанса»¹⁷⁶. В условиях все более крепнущего самодержавного абсолютизма, с одной стороны, и формирования русской нации, а вместе с нею и национального самосознания народа — с другой, этот процесс Возрождения не расставался еще (по крайней мере внешне) ни с основами православно-христианской идеологии, ни с преданиями национальной старшины. Старое летописание постепенно замирает, такая же судьба постигает хронографы и громоздкие «степенные книги». На смену им приходит историография, которая остро нуждается в обновлении идеологических основ исторических представлений. Долгое время господствовавшая феодально-династическая теория происхождения русских царей от самого «Августа-кесаря» через норманское (или нормано-славянское) посредство (Август — Прус — Рюрик) уже не могла служить такой основой для историографии и постепенно отходила в ней на второй план. Поэтому и книга Федора Грибоедова (1669) как последняя попытка подчинить всю русскую историю этой концепции фигурировала лишь в качестве учебного пособия для царских детей и успеха не имела¹⁷⁷.

Русская историография должна была искать для себя новые, более широкие, более почетные и, главное, не столько феодально-династические, сколько общенародные, национально-славянские основания. По представлению историографов, Московское государство, а затем — Россия XVII—XVIII вв. как крупнейшая и сильнейшая славян-

¹⁷⁶ А. И. Белецкий. Русская литература и античность. В кн.: Взаимосвязи и взаимодействия национальных литератур. М., 1960, с. 176; см.: М. П. Алексеев. Явления гуманизма в литературе и публицистике древней Руси (XVI—XVII вв.)—IV Международный съезд славистов. Доклады, М., 1958.

¹⁷⁷ Ф. Грибоедов. История о царях и великих князьях земли Русской. Сообщение С. Ф. Платонова и В. В. Майкова.—Памятники древней письменности, СХХI, СПб., 1896.

ская держава, населенная самым многочисленным среди славян «московским» народом, уже в силу этих своих признаков непременно должна была оказаться державой древнейшей и наиболее «славной» по самому своему происхождению. Основы необходимых для этого этногенетических воззрений русские историографы находят в «Синописе». Изложенная в нем теория «Мосох—Москва» переживает в России наивысший этап своего признания и развития.

Под влиянием переводов хроник Бельского и Стрыковского, которые начали осуществляться в XVI в., и еще до непосредственного влияния «Синописа», изучаемая теория проникает в третью редакцию русского Хронографа, где уже утверждается, что «...старейшее же имя славенского народа Московия именоватися, иже от Мосхиния, сына Афетова...»¹⁷⁸. Повторяя эти взгляды, Каменевич-Рвовский сосредоточивается на развитии идеи московского приоритета в происхождении славянства: «Сей же Мосох, князь Московский, бысть и начальнородный... не токмо же скифомосково-славенороссийским людем, но и всем нашим своеродным государствам и пародам... вперво первых же нам, словяном, такожде реку и русом (украинцам. — *А. Р.*), потом же и прусом (предкам Рюрика. — *А. Р.*), также поляном и болгаром, и... сербом, ...литвягом же и сарматом, ... жьмоидьским и чюдским землям...» (27). Персонализация Мосоха как «князя Московского» создает простор для образно-повествовательной реализации этих идей: «Прииде же Мосох, — пишет тот же автор, — господарь наш и князь первый, во страну скифскую великую и землю нашу спю», назвал он «безыменную» реку «по имени своему... и жены своея княгини прекрасныя... нарицаемыя Квы. И тако по сложению общекупному имен их... Москва река... завома она есть», «и созда же тогда Мосох князь и градец малый», т. е. Москву.

Для русских историографов XVII в. основания этой теории были очевидны. В пользу ее историограф царя

¹⁷⁸ А. П о п о в. Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в хронографы русской редакции. М., 1869, с. 238—242; см. С. П т а ш и ц к и й. Западно-русские переводы хроники Бельского и Стрыковского. В кн.: Новый сборник статей по славяноведению, составленный и изданный учениками В. И. Ламанского..., СПб., 1905, с. 372—384.

Федора писал так: «Довод: от святого писания и от розных языков и историков, что от Мосоха Москва имя свое получила» (16). Этот же «довод» развивался другим историографом, который для большей убедительности уже в самом заглавии своего сочинения произвел характерное изменение в слове Москва — «Мосхва», чтобы под видом подобной его внешней архаизации подогнать это слово к желаемой теории: «Повесть известная, со свидетельством многих историков, о многословутном граде Мосхве, яко таковое звание прия от Мосоха...»^{178а}. Автор «Повести известной» отрицал версию о том, что «прия имя Москва от Москвы реки» (370 об.). По его мнению, «Москва убо град зело старобытен... начало же прия здання и звания от славнаго патриарха нашего Мосоха, иже славися древле Мосхва, река же от града имя прия. И от неведущих глаголется Москва. Обнови же ся Мосхва по премногих летех... именем здателя и праотца своего Мосоха...» (371). Наконец, данная теория получила официальное признание в изданном по повелению Петра I «Введении кратком», составитель которого попытался как бы связать «праотца» Мосоха с современностью, поставив его в начале той исторической цепи, которая завершалась московским престолом царя Петра: «Москва река паче всех рек прославися, зело и именем Мосоха, праотца российскаго, и пресветлейшим престолом пресветлейшаго и великаго монархи» (44).

Но теория «Мосох—Москва» входила в русскую историографию не без сопротивления со стороны отдельных историографов. Первоначальное «сумнение» по поводу этой теории было заявлено анонимным историографом XVII в., который полагал, что в «Синописе» Иннокентий Гизель «своим изволом к похвале Мосоха и Москве реще. Буди то от него (Мосоха) родов вся Славенская и Русская (земля) распространилася, несть сие полезно и праведно. А о сем Мосохе ничто же бысть в писании...»¹⁷⁹. Удар был особенно чувствительным потому, что он подрывал авторитет данной теории с позиций «священного писания». Когда Татищев подробно проанализировал теорию «Мосох—Москва» и ее польские источники, он счел необходимым пустить в ход тот же самый идеологический

^{178а} «Повесть известная», рукоп. XVII в., ГПБ, с. Ф. А. Толстого, Q. XVII. 28, л. 364—386 об.

¹⁷⁹ И. Забелин, с. 27.

аргумент: «Происхождение народов, хотя следуя письму святому, то есть Библии, не иначе, как от Ноя и сынов его произошло, но чтоб далее, от которого сына которой народ, кроме именованных у Моисея, верно и безсумненно сказать можно было, я не берусь. Правда, что Берозус, Иосиф Флавий, яко же и другие, Библию, равно как ковер Милитрисы, употребляют и на все, что токмо хотят, натягивают...» (70). Заслуга Татищева состояла в том, что он указал на тот веками незамечаемый разрыв, который существовал между библейским Мосохом и уже внебиблейским превращением его легендарных потомков в славян, а затем в москвичей. Казалось бы «священный» авторитет теории «Мосох—Москва» был утрачен, но на пути освобождения от нее встала сама историография в лице той же «сарматской теории». Критика теории «Мосох—Москва» была по существу своему авторитарно-негативной, так как авторитет библейского Мосоха по-прежнему уважался и указывалось только на то, что в «священном писании» ничего не говорится о нем как о «праотце» каких бы то ни было народов, в частности, славян. При этом этногенетическая миграционная теория, корни которой уходили в то же самое библейское представление о «расселении народов», не могла еще быть заменена никакой другой позитивной теорией. Поэтому и сам Татищев никак не мог освободиться окончательно от влияния «сарматской» теории: «Если подлинно, — писал он, что моши, или мосхи... от Мосоха пошли, то достоверно не славяне, но сарматы, ...на Руси доднесь народ сарматской моксили, моши и мокшане имячуются и с мордвою един народ есть... имя Москвы реки сарматское — болотная...» (314). Мосох, таким образом, продолжал существовать в воображении историографа, хотя ему и отводилась теперь периферийная роль.

Отрезвляющие взгляды Татищева оказались преждевременными, так как теория «Мосох—Москва» представляла еще общественный интерес. В середине XVIII в., отстаивая национальную самобытность русской историографии, Ломоносов и Тредиаковский защищали эту теорию против отрицавших ее Т.-З. Байера и Г.-Ф. Миллера. В своей «Древнейшей истории России» Байер подвел итоги данной теории и писал: «*Si cui haec placent adeo, non intercedo quin sua opinione gaudeat et delectetur: modo mihi quoque, ut non lubet his animum aduertere, ita etiam*

liceat. Dicam, quemadmodum illum in errorem inciderint. Satis diu tenuit ridiculus error, ut Russi dicerentur a Moscu metropoli, Moscouitae et Moscouii, quod Polonis maxime debuit Europa, et quoniam Mosci intra Caucasum apud veteres scriptores exstabant, eo nomen videlicet vetus, visum est elegantis. Iam erat aditus ille patefactus ad regnum coniecturarum»¹⁸⁰. Из этого видно, что Байер считал ошибочной теорию «Мосох— Москва» в плане научном, но он не препятствовал существованию этой теории как факту общественного сознания. Третьяковский возражал Байеру и поддерживал польскую историографическую традицию: «Пускай же, по-моему, будет оно (теория «Мосох— Москва». — А. Р.) двусотлетнее токмо у поляков; да что из сего в том? Поляки были первый, кои сие мнение разгласили», они «всякаго, по моему ж, приятия достойни за сие мнение...»¹⁸¹

Ломоносов и Миллер начинали свои «занятия по русской истории с изучения рукописей татищевского труда»¹⁸², но к стремлению Татищева опровергнуть теорию «Мосох— Москва» они отнеслись по-разному. В своих замечаниях на диссертацию Г.-Ф. Миллера «Происхождение имени и народа Российского» (1749) Ломоносов осуждал автора за то, что тот «опровергает мнение о происхождении от Мосоха Москвы...» и заверял, что это такие «опровержения, которые никакой силы не имеют»¹⁸³.

Когда Ломоносов сам приступил к историографическому труду, отвергнутая Татищевым «басня» о Мосохе привела его к немалому затруднению. Разделяя основные принципы и воззрения славянской историографии, Ломоносов был убежден в том, что славяне уже существовали, обладали «величием и могуществом... за многие веки до разорения Трои» (13)¹⁸⁴, он выводил их из Малой Азии причем, по его мнению, все древнейшие «мидские» народы и следующие за ними венды, анты, амазоны и сарматы

¹⁸⁰ Origines Russicae. Auctore T. S. Bayer. В кн.: Commentarii Academiae scientiarum Imperialis Petropolitanae, t. VIII, Ad annum MDCCXXXVI. Petropoli, p. 399.

¹⁸¹ В. Третьяковский. Три разсуждения о трех главнейших древностях российских... СПб, 1758, с. 75.

¹⁸² С. Л. Пештич, с. 223.

¹⁸³ М. В. Ломоносов, т. VI, с. 20.

¹⁸⁴ Современные советские историки утверждают, что «в целом, несмотря на отдельные промахи, Ломоносов выражал передовые взгляды на раннюю историю славянства» (Очерки, с. 201).

«были славенского племени» (14). Шли они в Европу двумя путями: «от Трои» морями Средиземным и Адриатическим, а также через Черное море «вверх по Дунаю» и «из Мидии Севером около Черного моря... из задонских мест далее к вечерним странам простирались» (23). Впоследствии славяне с севера перешли за Дунай в Далмацию и Иллирик, но там, оказывается (по свидетельству Нестора), славяне жили уже и раньше, в те времена, «когда учил апостол Павел» (16). Итак, южное и северное движение славян из их вавилонской прародины сомкнулось, и этот созданный Ломоносовым историко-географический круг призван был объединить теории «сарматскую» и «балканскую». Это была одна из разновидностей традиционных историографических концепций. Читателя могло удивить в ней только одно — отсутствие «праотца» Мосоха, который (по привычным версиям) и положил начало движению славян из Малой Азии в Европу. Без этого «патриарха» вся теория славянского этногенеза могла показаться как бы обезглавленной. Ломоносов вслед за Татищевым и Байером нащупал наиболее уязвимое место теории «Мосох—Москва». Хотя он и признавал, что в Малой Азии рядом со «славянами» обитали «мосхи», он не находил «свидетельства о единоподстве» между ними. Не находил он и такого «имени» в русских летописях «до начала Москвы» (15). Возникало противоречие: добросовестность и пронизательность серьезного историка не позволяли Ломоносову признать Мосоха родоначальником Московского государства, а убежденность в том, что славяне все же вышли из Малой Азии, во-первых, и уважение к национально-политическим традициям русской историографии, во-вторых, не позволили ему вслед за Татищевым, Байером и Миллером полностью развенчать этого славянского «праотца» или умолчать о нем. Поэтому Ломоносов писал так: «Мосоха, внука Ноева, прародителем славенского народа ни положить, ни отрещи не нахожу основания. Для того оставляю всякому на волю собственное мнение, опасаясь, дабы священнаго писания не употребить во лжесвидетельство, к чему и светских писателей приводить не намерен» (13)¹⁸⁵. Таким образом, вслед за Байе-

¹⁸⁵ Такой неопределенный вывод не случаен для Ломоносова; ср. его другие выводы: «...Рурик мог быть коего-нибудь Августа, сиречь Римскаго императора, сродник. Вероятности отрещись не

ром, но в более осторожной форме, Ломоносов вынес теорию «Мосох — Москва» на суд читателя.

Русские читатели продолжали любить своего «праотца» Мосоха, и об этом свидетельствует тот факт, что данная теория продолжала повсеместно проповедоваться «Синописом», который и после выхода трудов Татищева и Ломоносова остался самой популярной исторической книгой в России и часто переиздавался в Академии наук и в других издательствах (с 1674 по 1861 г. «Синопис» был издан не менее 29 раз)¹⁸⁶. Дух «Синописа» еще царит в русской историографии, «определяет вкусы и интересы читателей, служит исходной точкой для большинства исследователей, вызывает протесты со стороны наиболее серьезных из них...»¹⁸⁷.

Та же теория «Мосох — Москва» продолжала господствовать не только в «Ядре Российской истории» А. Манкиева (изданном в 1770 г. и переиздававшемся в 1784, 1791 и 1799 гг.), но также в «Российской истории» Ф. Эмина и в «Истории Российской» М. Щербатова.¹⁸⁸ Критикуя труд Щербатова, И. Болтин пытался внести ясность и в данный вопрос: «... что у Афета сын был Мосох, в том никакого нет сомнения, ибо книга бытия сие свидетельствует, но чтоб сказанный народ мосхи или месехи от него точно происходили, и чтоб руссы некогда назывались их именем, на то никаких доказательств не обретаются; равным образом и чтоб город, построенный через несколько десятков столетий, назван был по имени сего народа, ... есть невероятно...»¹⁸⁹ «... Повествование о Мосохе никакой не предполагает справедливости», — замечал и автор «Краткого начертания» (25). Но несмотря на эту критику, увлечение

могу; достоверности не вижу» (56), «О грамоте, данной от Александра Великого славенскому народу повествование, хотя не вероятно кажется..., однако здесь об ней тем упоминаю, которые не знают, что, кроме наших новгородцов, и чехи оною похваляются» (24).

¹⁸⁶ См. А. С. Лапко-Данилевский. Очерк развития русской историографии. — Русский исторический журнал. Пг., 1920, № 6, с. 26.

¹⁸⁷ П. Милюков. Главные течения русской исторической мысли. Изд. 3-е. СПб., 1913, с. 7.

¹⁸⁸ См. Ф. Эмин. Указ. соч., т. I, с. 8, 9, 18, 24, 25; История Российская от древнейших времен. Сочинена князь Михайлом Щербатовым, т. 1. СПб., 1770, с. 4, 7; изд. 2-е: СПб., 1805—1817.

¹⁸⁹ Критические замечания генерал-майора Болтина на первый том Истории князя Щербатова, т. 1. СПб., 1793, с. 434.

Мосохом продолжалось до начала XIX в., постепенно сходя на периферийные пути историографии¹⁹⁰. Запоздалые попытки реставрации этой теории сделали поручик П. Захарьин в своем «Новом Синописе»¹⁹¹ и Н. Львов, издатель «Подробной летописи»¹⁹². Захарьин даже попытался несколько освежить обычную аргументацию: «народ московский» происходил «от Мосоха праотца всех славено-российских племен» (13). Удивляться этому, считает автор, нечего потому, что «сей обычай свойственен почти всем племенам света: таким образом нарицаются и ассириане от Ассура, персидяне от Персея, иудеяне от Иуды, римляне от Ромула своего основателя, как и целая четвертая часть света получила свое наименование от обретателя своего Америка Веспудия Америкою...» (13).

После рассмотрения теории «Мосох — Москва» и ее общественно-политической роли в польской, украинской и русской историографии, нам следует вернуться к историографии южнославянских народов.

* * *

Возрождение в литературах южных славян XVIII в. проявляется прежде всего в форме развития историографии. Из всех жанров славянская историография оказалась жанром наиболее необходимым в период пробуждения и формирования национального самосознания поработенных южнославянских народов. Зачинателем этого течения был, по-видимому, автор «Славяно-сербской хроники» Юрий Бранкович¹⁹³, который, по словам Раича, «до-

¹⁹⁰ Впрочем, и в XIX в. А. А. Некрасов вопрошал: «...почему же имени мосхов, как называло себя одно колхидское племя, не перелететь с берегов... Черного моря на верховья Оки и не оставить по себе следа в названии реки Мохвою или Москвою?». В кн.: Место первоначального обособления славянского племени и направление его движений по отношению к Черному морю (гипотеза по данным филологии). Речь, произнесенная... профессором А. Некрасовым. Казань, 1879, с. 30.

¹⁹¹ Новый Синопис..., Николаев, 1798, с. 13—15.

¹⁹² Подробная летопись от начала России до Полтавской баталии. СПб., 1798, с. 19—20.

¹⁹³ «Негове хронике претстављају по свом карактеру прелазни облик између средњовековне хронике и критичког историјског списа новијег времена» (Миливоје Урошевић. Српска књижевност у XVIII веку. Београд, 1957, с. 160); см. Краткое введение в историю происхождения славено-сербского народа, бывших в оном

волную о сербском роде, кралех, царех, деспотах составил и нагромадил книгу» (28). Бранкович, как и все славянские историографы, проявил большой интерес к проблемам этногенеза. Он выводил славян от Иафета и его потомка Вандала, который поселился на Висле, «многое чадородие сотворил» и распространил всех славян по Европе¹⁹⁴.

По мере укрепления культурных связей с Россией южнославянская историография не могла пройти мимо ведущих этногенетических воззрений русской историографии. Как и всегда, заимствуемые идеи и формы переходили на подготовленную к их восприятию почву, но усваивались они не в своем новейшем, а в несколько архаическом виде. Замирая уже в России, теория «Мосох—Москва» обрела новую жизнь у сербов и болгар.

Йован Раич разделял сомнения Ломоносова по поводу этой теории, однако из-за своей любви к России он не считал возможным отбросить ее. Раич вспомнил при этом о том, что данная теория, как ему представлялось, восходила к «Синонису», автор которого «показует Мосха быти князя Роска. Яко древность сию, — продолжал Раич, — тако и разногласие историков изследовати превосходит силы моя, по тому лучше мною коегождо оставить избыловати в мнении своем... Между тем, ... весьма сходен догад Синопси истины видится из того, что словенскии народы по общему мнению от Иафета низходят, а Мосох сын был Иафетов, кроме всякаго сумнения свидетельствующу священному писанию в Бытиях гл. 10, ст. 2, тем и мосхвитов, нынешних россиян, не нелепо нареци можем» (230—231). Из этого видно, что к концу XVIII в. факт упоминания Мосоха в Библии и традиционное «общее мнение» о библейских предках славян снова слились в сознании южнославянских историографов в ту нерасторжимую цепь желательных для них «доводов», которая была разорвана еще Татищевым.

Применительно ко всей славянской историографии наблюдалась характерная закономерность: чем дальше стоял

владетель, царев, деспотов, или владельных князев сербских до времени Георгия Бранковича, последнего деспота сербского, сочинено и из разных авторов потама изяснено Павлом Юлинцем, находящемся в Росийской императорской службе военной. 1765 (эта редчайшая книга имеется в ГПБ в Ленинграде, № С. 28,8.69).

¹⁹⁴ См. И. Первольф, с. 251.

тот или иной историограф от развивавшихся уже и в славянской историографии критических принципов исторической науки, тем радикальнее и своеобразнее решал он вопросы славянского этногенеза. К таким радикальным историографам принадлежал Спиридон, который опирался в данном случае на «Синописис» и на «Летопись» Дмитрия Ростовского.

Если в «Синописисе» соответствующая глава называлась «О Мосохе, прародителю славенороссийском и о племени его» (7), то Спиридон называл свою главу иначе: «О Мосоха, прародителе славено-болгарском и о племени его»¹⁹⁵. В «Синописисе», как мы уже видели, говорилось: «И тако от Мосоха, праотца славено-российскаго,... не токмо Москва, народ великий, но и вся Русь или Россия вышереченная произыде» (8 об.). Спиридон обрабатывал этот текст: «И тако от Мосоха, праотца славенскаго,... не токмо Москва, но и весь народ славенский изыде» (11). Таким способом теория «Мосох—Москва» вновь возвращалась к своему как бы до-московскому варианту «Мосох—славяне—Москва», благодаря которому Спиридону, как увидим далее, удалось создать болгарское ответвление этой теории. Но на пути Спиридона встал другой его источник—«Летопись» Дмитрия Ростовского, к этому времени уже опубликованная в Москве (1784). Автор «Летописи» утверждал, ссылаясь на Библию: «Еще же и Москве, и прочему русскому народу, и всему славенскому языку от Мосоха произыти глаголют мпозн, якоже и святыи пророк Иезекииль именно Мосоха, князя быти Руска, рече...» (244). Этот типично московский вариант данной теории укреплялся здесь тем обстоятельством, что он излагался от лица новоявленного святого, да еще—русского, авторитет которого благочестивый перосхимонах Спиридон читал глубоко, полагая, что «никто не писал така право, яко святыи Димитрий Ростовский» (78)¹⁹⁶. Но по существу версия Дмитрия не нравилась Спиридону. В душе Спиридона шла борьба и наконец он решил: «Еще же, — написал он, — и сам святыи Димитрий несогласно глаголет, сиречь не утверждает парочно славенскаго языка быти от Мосоха» (8). Церковные авторитеты пали под ударами национально-патриотической идеологии Спиридона,

¹⁹⁵ См. В. Н. Златарски. Указ. соч., с. XXVI—XXVII.

¹⁹⁶ См. там же, с. XXVI.

освободив ему путь для торжественного заявления: «Болгарский народ есть един первейший и старший во христианстве же и царстве, глава и предводитель всему роду славенскому, влечет племя от Мосоха, якоже и прочии народы словенский» (11).

Теория «Мосох — Москва» была в целом принята в южнославянской историографии, хотя и со значительными видоизменениями. Она обусловила общие воззрения на происхождение славян у Паисия, Спиридона, Раича. Но после того или иного решения этих общих этногенетических вопросов историографам необходимо было приступить к определению тех конкретных путей, которыми, по их мнению, двигались их народы из Вавилонии к местам исторического обитания. Именно здесь появлялась у каждого историографа наиболее благоприятная возможность для выяснения специфических особенностей в исторической судьбе своего народа.

«Исперва от куду произишли?» (50) — вот первый вопрос, который волновал Паисия. За ним следовал и второй вопрос, более специфический, относящийся уже не ко всем славянам, а только к болгарам: «от куду повлекли свое племя и напоследок како се отделили от ных болгарп (т. е. как болгары отделились от всех славян. — *А. Р.*), и пришли и вселили ся в землю сию болгарскую?» (50).

Паисий стремился пробудить национальное самосознание болгар. Поэтому для него было весьма существенным показать болгарский этногенез на общем фоне происхождения славянских народов, но без слияния с этим фоном. В связи с этим следует вспомнить, что в русской историографии XVII — начала XVIII в. вопрос о славянском происхождении болгар обычно непосредственно связывался с рассмотренной теорией «Мосох—Москва». Например, автор «Повести известной» писал: «Есть бо Волгария великая и многочеловечная страна обоуду брегов Волги реки... Та бо река наченшися во... землицы Московскаго государства...» (376—376 об.). Автор пытался сослаться на мнение самих болгар: «... но и сами болгары верно свидетельствуют, яко сродницы их и предки от московских стран изидоша, житие ныне имуще между Болганами и превысокими каменными горами за Дунаем, выехавши из Мултянской земли...» (377 об.). Однако подобный московский вариант «сарматской» теории, по которому болгары выводились со всеми славянами из Малой

Азии на Волгу, а затем через Московское государство прямо попадали на Дунай, не мог удовлетворить болгарских историографов XVIII в.

Концепции южнославянских, и в частности, болгарских, историографов в этом отношении были predeterminedены историческими преданиями, а в известной мере и самим географическим положением их народов. Для этих историографов выяснение вопроса о путях проникновения южных славян на Балканы из их легендарной азиатской прародины неизбежно сочеталось с попыткой осмысления реальных европейских передвижений народов. Как известно, в период раннего средневековья северные варварские племена влекло к границам Византийской империи, точно так же, как и к Римской империи, почти «магическое очарование». Нам представляется, что следы подобного «очарования» этой былой славой заметно сказались и на взглядах позднейших историографов.

Дубровчанин Л. Церва-Туберон (ум. 1527) в своих исторических сочинениях поддерживал теорию о «русском происхождении» всех славян вопреки распространенному в ренессансной историографии мнению об иллирийских истоках славянского племени¹⁹⁷. Антитурецкая направленность общественной мысли южных славян требовала от них ориентации на восточное славянство и подрывала основы «балканской теории» происхождения славянских народов. В. Прибоевич своей книгой «О происхождении и славных деяниях славян»¹⁹⁸ вдохновил труд знаменитого южнославянского историка Мавро Орбини, который разработал один из самых ярких вариантов северной («вандалской») теории¹⁹⁹. Начиная историю славян с поселе-

¹⁹⁷ И. Н. Голенищев-Кутузов, с. 232.

¹⁹⁸ И. Н. Голенищев-Кутузов, с. 236; *Delle Origine et Successi degli Slavi. Oratione di M. Vincenzo Pribebo Dalmatino da Lesena gia recitata da lui nella medena da Bellisario Malaspalli da Spalato. Con Privilegio. In Venetia, 1595. Presso Aldo.*

¹⁹⁹ По определению Ф. Вольмана, сочинение Орбини «является уже гуманистическим славянским манифестом в стиле барокко, проникнутым антитурецким пафосом. Это произведение тенденциозно в лучшем смысле этого слова, и вследствие этого, учитывая уровень науки того времени, трудно назвать его зачатком исторического исследования о славянах» (Сборник ответов на вопросы по литературоведению. IV Международный съезд славистов, М., 1958, с. 67).

ния племени Иафета «во Азии», Орбини сразу перебрасывает его в противоположную часть континента: потомки Иафета «пошли во Европу на Север и поставили своя обиталища в Скандинавии...» (2). Все германские и славянские племена, штурмующие твердыни южноевропейских империй, объединяются Орбини под именем «славян»: все они «посили своя победителная оружия... под имяны вандалов, бургундионов, готфов, остроготфов, визиготфов, гепидов, гетов, аланов..., фраков и иллириан, которые все были едина таяжде порода славянская, тогожде языка» (79), «швевы, норманы и болгары суть такожде люди славяне...» (82). Задолго до «пришествия Христова» многочисленные «славянские» племена впервые двинулись из Скандинавии на юг и на запад. Они завоевали «всю Сармацию», причем «москвитяне» остались здесь навсегда — «во своих жилищах» (68), а «болгары» сначала поселились в «краях Германни», затем «остановилися оружьем» на берегах «великия реки Волги, от нея же нарекошася волгары, а потом болгары», наконец, они «пришедше к Дунаю» и «пронзилися во Фракию» (289).

«Вандальская» теория уже во времена Паисия вызвала справедливую критику со стороны Ломоносова, который писал: «От великаго множества славян, бывших с прочими северными народами в походах к Риму и Царю-граду, произошло, что некоторые писатели готов, вандалов и лонгобардов за славян почитают, хотя они действительно германскаго были племени» (30). Перед Паисием стояла сложная задача: теория «Историографии» Орбини была еще полна очарования, она укреплялась для него авторитетом русского издания этого сочинения, и в то же время в целом она не была приемлема для него. Орбини забыл о Мосохе и передвинул славян из Азии в Скандинавию, мняв Москву, а следовательно и всю Россию, что было еще понятным для южнославянских представлений конца XVI в., но стало уже невозможным для середины XVIII в.

Историографическая мысль Паисия двинулась по пути объединения основных положений южнославянского варианта «вандальской» теории с восточнославянским вариантом «сарматской» теории. Обе эти теории имели этнически-ассимилятивный характер, обе они старались на разной основе (на «скандинавской» или на «славенороссийской») объединить различные славянские и неславян-

ские народы ²⁰⁰, и это обстоятельство служило также одной из причин, благодаря которой Паисий не мог принять ни одну из данных теорий полностью. Задача Паисия заключалась в том, чтобы опираясь на авторитет обеих этих теорий, отпочковать от них свою собственную болгарскую веточку.

Сначала Паисий следует «сарматской» теории в ее восточнославянском варианте, усвоенном им, возможно, из «Синописиса» ²⁰¹: потомки Мосоха «пошли на полунощна страна, где е сега Московска земля», по имени «Мосхоса, прадеда своего», они назвали реку «Москва, а по нея и село» и «нарекли ся москали» (54). Но затем вступает в силу влияние «вандальской» теории: «И днес у Московска земля има некая страна, зове ся Скандавния», жители которой «скандавляне» когда-то двинулись «на западу», поселились «покраи Брандибура» (54). Очевидный разрыв между двумя объединяемыми здесь теориями заполнялся Паисием при помощи излюбленного историографами приема внешней этимологии: «а по то име ска(н)давляне после нарекли они род славяни» (55) ²⁰². Породнив, таким образом, скадннавов со славянами, Паисий уверенно продолжает: «Тыя славяне един род... са болгары» (55). Отсюда и начинается постепенно вырастать и у Паисия своя национально-этногенетическая теория. Оказывается, болгары от «Брандибура и Немца» пошли «паки в землю Москов-

²⁰⁰ Так, например, в «Синописисе» под именем «славепоросийского народа» объединялись «аляны», «россы», «козары», «сарматы», «славяне» (6—9); в «Повести известной»: «вандалы, сарматы, шоты тии русь же и словяни, по вандалы от предел Московских...» (375); по Ломоносову «Варяги — россы в древнее времена именовались роксоланами..., для того, что россы соединены были с аланами», а они явились из Азии с «сарматами и от старинных писателей с ними однородцами почитаются» (т. VI, 295).

²⁰¹ См. П. А. Лавров. Одна из переделок истории Славяно-болгарской иеромонаха Паисия, сохранившаяся в рукописи № 1731 собрания проф. Григоровича. — Оттиск из «Трудов восьмого Археологического съезда», т. 2, М., 1895, с. 3.

²⁰² Ради указанной этимологии Паисий отвергает господствовавшее (и известное ему из книги М. Орбини) в обеих теориях производство слова «славяне» от «славы»; ср. Орбини: «Славяне... всегда были славными победителями, от чего восприяли и имя сие...» (4, ср. 78); «Синописис»: «...от славных делес своих... славянами, или славными зватися пачаша» (2); Ломоносов: «...Амазоны... славенской парод, по-гречески значит самохвалов; видно, что сие имя есть перевод славян, то есть славящихся, со славянского на греческой» (16).

скую» (это «паки» очень многозначительно: оно показывает, что болгары раньше уже побывали в Московской земле в составе славян — потомков Мосоха). Но при возвращении болгар из Скандинавии и Брандибура «москали и руси» не пускали их. Болгары «влезли в ону землю» силой, поселились у «реки Болги», от которой и приняли свое имя ²⁰³.

Теперь перед Паисием возник важнейший вопрос: каким же образом привести болгар на их историческую родину? По авторитетным для Паисия сведениям Цезаря Барония, византийский император Валент (IV в.) оборонялся от варварских племен — «поган различных»: гунны напали на аланов, но отраженные ими, «обратишася к Дунаю, идеже бяху готфы», которые и просили императора «да бы им попустил за Дунай прейти и тамо вселитися, обещающе всего государства Римскаго пределы от врагов сих тамо защищати» (343—343 об.) ²⁰⁴. Именно эта историческая ситуация открывала для болгар, по представлениям Паисия, путь на Балканы. Паисий вновь вспоминает «вандальскую» теорию, объединявшую под именем «славян» и готов и болгар, и смело заменяет первых из них вторыми в воспринятых им у Барония сведениях: «Оны болгары... Пратили црю Уаленту, просили да их пустит през Дунав, да се населят покраи Дунав в Тракию. Тая земля возлюбиле болгаре. И обрекли ся царю Уаленту, да му будут покорни, греком и римляном, и да будут помощници им на войска» (55—56). Нисколько не сомневаясь в правильности своей обработки текста Барония, Паисий разъясняет, что виноваты в исторической ошибке были греки: «... не знаяли грецы, како се називал болгаре, но са ги звали гофи, гуны» (56). Так, наконец, в «Истории» Паисия болгары достигли своей родины, и этногенетические раздумья историографа были окончены.

Ближайший наследник Паисия Спиридон был совершенно не согласен с его компромиссной «сармато»-«вандало»-«болгарской» этногенетической концепцией. Под пером Спиридона возникает последний и собственно болгарский вариант «сарматской» теории. По этой теории,

²⁰³ Это мнение разделял и Ломоносов: «...имя болгар, от Волги происшедшее» (24).

²⁰⁴ См. В. Велчев, с. 74—75.

как уже отмечалось выше, принято было считать, что от Мосоха ведет свое начало название Москвы, а болгары начинают свое историческое движение с берегов Волги, от имени которой происходит их название. Для преодоления этих мнений Спиридон окончательно объединяет свой «сарматский» вариант с остатками старой «балканской» теории. По мысли Спиридона, славянское племя Мосоха «достигло до Каръбазских гор во главу Чернаго моря», пошло на север и сразу расселилось «над Допом и Волгою» и «пад дунайскими, и днепровими, и днестровими в полях широко селенми своими» (11). Болгарский народ (минуя Волгу, Москву, Скандинавию) прямо «изыде из-за Чернаго моря... и населишася обох стран Дуная, и звахуся тогда мисини», и земля их «назвася Мисишия именем праотца их Мосоха» (11). Для утверждения этой новой этимологии Спиридону нужно было отвергнуть старую, припугнутую Пансием и гласящую, что «болгары» — от «Болги» (Волги). Спиридон сделал просто: первым королем «мисин» у него был Иллирик (так возрождалась «балканская» теория), а потомки его Болг и Брем разделили землю. Болг завоевал Фракию, Македонию, Далмацию, дошел даже «и до Рим». Он «повеле народовы зватися именем его болгаре, и от того время назваша ся иллирийцы болгары, а не яко же пецы мнят, — замечает Спиридон, — яко от реки Волги изыдоша болгары» (13). Полемизируя внутренне со своими предшественниками, Спиридон еще более возвысил значение своей теории. В запасе у него оставался еще Брем, с легкой руки которого волна славянско-вандальских завоеваний отхлынула с балканского юга и двинулась вспять на европейский северо-запад. Завоевав «Померанию», «Брандбурию», «Сведию» и «великую Скандинавию, называемую Данмарко», Брем покорил «сарматов и руссов» и от него же пошли «бреми или пемии, ныне же чехи» (13).

Итак, круг этногенетических воззрений славянских историографов завершился: балканская прародина славян, открытая киевлянином Нестором в XII в., снова, хотя и в новой форме, вернулась на Балканы в XVIII в. Это возвращение совпало с концом всей некогда восходящей и прогрессивной, а ко временам Спиридона уже устаревшей и консервативной славянской историографии. Окончательное падение Мосоха и всех атрибутов библейско-славянского этногенеза могло произойти и действи-

тельно произошло только с выдвижением принципиально новой этногенетической теории, что и началось трудами П. Шафарика ²⁰⁵

* * *

В системе исторических взглядов болгарских историографов законное место занимала задача возвеличения отдаленного прошлого болгарского народа, его идеализация, как это принято было отмечать в научной литературе²⁰⁶. Этот вопрос выходил также за пределы собственно болгарской историографической мысли и примыкал к общим традициям славянской историографии.

По мнению Паисия, в древности «от всего славенского народа или славни были болгары...» (47). Паисий намекает на некогда имевшее место единство высоких военных качеств болгар и русских, которые «и до ныня» сохраняются у русских: болгары были «бестрашны и сильны на воиска, ... како и до ныня от северна и полуночна страна всесилен народ и крепок на бран и воиска» (56). Утрата болгарам их былой силы в какой-то мере восполнялась мощью их северного собрата. Эта идея в развернутом виде выдвигалась Ломоносовым, который рассматривал доказательства «величества и древности» для всех славянских народов в целом и считал, что «Чрез покорение западных и южных славян в подданство чужой власти, и приведение в магометанство, едва ли не последовал бы знатной урон сего племени (т. е. всех славян вместе. — А. Р.) перед прежним, естли бы приращенное могущество России с другой стороны онаго умаления с избытком не наполнило» (9).

Излюбленной мечтой славянских историографов было желание возвысить «славу» своих народов над «славой» Византии и Рима.

Мавро Орбини много и подробно писал о том, как славянский народ «... разорил Рим, учиня данниками цесарей римских, чего во всем свете иной народ не чинивал» (4). Феодосий Софонович подчеркивал: «Воевали значне и славяне против грецких царей и против римских касаров...» (2). В «Синописисе» снова рассказывалось о том,

²⁰⁵ П. И. Шафарик. Славянские древности, т. 1—2. Изд. 2-е. М., 1847; всестороннюю оценку трудов Шафарика см. в статьях Ф. Вольмана, Г. Булина, З. Гауптова, К. Горалека, И. Курца, Я. Седлачека, Я. Эйслера (Slavia, г. XXX, 1961).

²⁰⁶ См. Б. Пепев, с. 31—54.

как славяне воевали «противу древних греческих и римских кесарев и всегда славную восприемлюще победу въ всякой свободе живяху» (2 об.). Автор «Повести известной» утверждал, что славяне «разширяющие бо страны непрестанны воинами, обитание себе и нам по себе утверждающе, римскую и греческую славу до основания опровергоша и гордыню их низложиша» (375). Ломоносов усматривал «в российских преданиях равные дела героев, греческим и римским подобных ...» (170). Щербатов восторженно убеждал читателей, что «есть ли Россия сравнялася с Римом славою своих военных дел, вскоре в науках и в художествах самой Греции не уступит» (3).

В предисловии к «Истории русов» говорилось о князьях русских, «воевавших славно с воинством руским в Европе, Азии, Греции и на самыя столицы их Константинополь и Рим нападавших» (III). В «Новом Синописе», вновь повторялись рассуждения о том, что «могущественный и воинственный» русский народ «наводил трепет на все соседственныя державы, не редко потрясая гордую власть Рима и Греции, собирая с них дани» (1).

Вполне естественно, что эта настроенность славянской историографии особенно укреплялась у Паисия реальными обстоятельствами древней болгарской истории. По признанию самих греков, писал он, «Тежкий народ болгарский, непобедими в бранех, много пакост чинили греком и римляном» (58), «и много пути надвили греком и римляном» (59), «... и от кесари много крати дан взимали» (125).

Паисий не был одинок в этих своих оценках болгар. Так, Ломоносов писал, что в древности «великость» славянского народа доказывали «болгары, которых... могущество и множество из военных дел не споримо. Ибо уже прежде царства Юстиниана великаго, при царе Анастасии приобретши себе в Иллирике владение и селение, тяжкия войны наносили грекам» (10).

Представления Спиридона о победоносном движении болгар с Балкан на север Европы также уходили в глубь традиций славянской историографии. Ему казалось, что уже упомянутый выше болгарский король Брем не только победил «сарматов» и «руссов», но даже «и град сотвори в земле их и нарече... Нов-град. До того время не бе в русов град, ни села; живяху аки дивии по полях кущами, сиречь прехождаху от место на место» (13).

Отыскивая в отдаленном прошлом примеры славянского содружества, Ломоносов писал, что «Взаимное северных и южных славян друг другу вспоможение явствует из приходу болгаров дунайских для населения Славенска (по преданию — будущего Новгорода. — *А. Р.*): первое после великаго мору, от котораго жители почти все погибли; второе по нашествии гуннов, от коих Славенск разорен и положен в конечное запустение» (31). В этих суждениях Ломоносов опирался на историографическое сочинение XVII в. «О истории еже о начале Руския земли и создании Новаграда и откуда влечашеся род словенских людей», согласно которому славяне «паки пойдоша с Дуная множество их без числа, с ними же скифы и болгары... на землю словенскую и рускую, и седоша паки близ езера Илмера, и обновиша град... (раньше он назывался Славенск. — *А. Р.*) и нарекоша Новград Великий, и поставиша старейшину князя от роду же своего именем Гостомысла»²⁰⁷.

Высокое уважение к историческому прошлому болгар вообще проходит через всю восточнославянскую историографию.

В списке русского Хронографа XVII в. была включена переведенная с латинского языка «Космография», в которой при описании Болгарского царства отмечалось, что люди в нем «зело храбры и большая половина воинских людей, имать же в себе и великую реку Дунай, и об ней стоят и противятся недругам своим»²⁰⁸. Эта общеевропейская историографическая оценка болгар окрашивалась в памятниках восточнославянской, особенно украинской, литературы тонами дружбы и братства. Так, в «Палинодии или Книге обороны» при рассказе о войнах с Византией говорится: «В тых часех не уставали россове, але воевали на греки. И болгарове, братья наши, з греки войны знамениты чинили, и Константинополе облегалы, и царевь в бою забивали. Почала ласка божия снати над булгары» (1105).

Весьма показательны по своим оценкам и стилю и другие отзывы историографов о древних болгарях. В описании автора «Повести известной», например, говорилось: «... есть бо Волгария великая и многочеловечная страна

²⁰⁷ А. Попов. Изборник, с. 442—447.

²⁰⁸ Там же, с. 462.

обоюду берегов Волги реки...» (376). Населяли эту страну «волгари» — «просто же звахуся болгары». И вот «воздвигше же ся сродницы наши волгари от Волги, пришедша со множеством народа прежде над Черное море...» Поселившись между Доном и Днепром, они «возобладаша и Таврику». Потом узнали они «о неумирении римских цесарей и, яко Атыла..., со оных же Мосховских стран пришедши, воздвигшиися наши волгари водою и землею, с вождем своим и князем Дердалом в Дацью греческия державы прибывше, идеже ныне волохи и мултяны...» (377). Паисий писал почти так же: «И востали от оная земля и река много народ и дошли в землю мачарскую и влашкую» (55). Автор «Повести известной» продолжал: болгары «в государство и власть ту землю приапа», а узнав о смерти царя Феодосия, они овладели «Мисией», и, «видевше царей неукрощенных и несогласных, во одержание свое приапа» (377).

Из «Скифской истории» Лызлова русский читатель узнавал, что болгары «имели начало свое от преславнаго и многонароднаго народа славенскаго» (18). «Ревнующе» победам этого народа, болгары двинулись с Волги, «ищуще мест прохладнейших, и славу обрести хотяще», они — «Греческое царство пленяху и победы восприимаху...» (19). Григорий Грабянка повествовал украишкому читателю о том, как болгары «естественным своим мужеством влекомы суще, чрез многие времена заволских татар улусы пленяху...» (4), а потом перешли на Дунай, и когда царь Константин IV «воста бранию противу болгаров, от них же побежден и прогнан сущи, едва возможе угонзнути в Константинополь... Тако болгары победное в пачале своего пришествия имуще преддверие, ... воеваху и послежде противу греко-римских кесарей различными бранми» (4). Многим позже и Щербатов писал, что болгары были очень храбры, «всегда в готовности предпочтитель смерти неволи», «они многие и сильные набеги на земли Римские учинили, и во многих случаях не токмо разбивали римския войска, но и совсем их истребляли» (102).

Историографы чутко прислушивались к отголоскам древней болгарской славы. Этого обстоятельства не учитывали те исследователи, которые рассматривали творчество Паисия по преимуществу изолированно и упрекали его в чрезмерной идеализации древней болгарской истории. Паисий любил свой народ и, разумеется, идеализировал

его прошлое. Однако он имел законные основания восхвалять это прошлое не только на основе своих субъективных патриотических чувств, но и на основе тех объективных традиций, которые задолго до него сложились в глубоко дружественной болгарскому народу восточнославянской историографии, в тех известных ему «историях», рукописных и печатных, «что извадили руси и московцы» (50).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Взгляды польских, украинских, русских, болгарских и сербских историографов XVI—XVIII вв. на задачи и предмет своей деятельности, методы их работы, структурные признаки их сочинений, тип каждого из таких сочинений в целом, — все это обнаруживает значительную близость, которая позволяет нам объединить многочисленные историографические памятники данного времени в общее течение славянской историографии. Такое объединение отдельных историографических сочинений разных славянских стран в общее течение нельзя считать только результатом современного ретроспективно-исторического изучения предмета. Сами славянские историографы достаточно ясно сознавали и подтверждали в своих высказываниях свойственную им близость воззрений и существовавшие между ними взаимосвязи.

Преемственность основных идей и принципов историографического познания и повествования основывалась на присущем историографам глубоком интересе к проблемам общего происхождения славянских народов, к развитию их плодотворных исторических связей, к очевидной близости их культуры, обычаев, языков. Историография как область специального исторического знания еще не отделялась в сознании историографов ни от самой истории славянских народов, ни от общественно-политических явлений современности. Она служила для них как бы посредствующим звеном между прошлым и настоящим.

Обширное и долговременное историографическое течение было одной из значительных своеобразных форм выражения общественной мысли переходного периода от феодальной общественно-экономической формации к буржуазной. Зародившись в самом начале этого периода, оно развивалось до самого его конца и несло в себе все

его наиболее характерные идеологические тенденции. Главнейшими среди них были новые тенденции национального и социально-политического развития.

Историография каждый раз по разному — применительно к конкретным условиям, но в общей своей эволюции почти всегда однотипно — становилась на службу общественно-политическим интересам современности. В одних случаях, например, она служила задачам укрепления национальной феодально-дворянской или дворянско-буржуазной государственности, в других — задачам национально-освободительной борьбы с иноземным политическим и духовным гнетом. Как никакой другой род творческой деятельности, славянская историография наглядно отразила социально-историческое своеобразие образования разных славянских наций, общие и обособленные признаки этого сложного процесса.

Славянская историография была глубоко проникнута гражданским пафосом, развитие ее сопровождалось расширением идейного диапазона и социальных функций исторического знания, усилением публицистического вмешательства историографов в общественную жизнь, популяризацией их сочинений. Историография приобрела целеустремленный программно-идеологический характер. Она претендовала на ведущую роль в кругу наук, пыталась стать не только отраслью знания, но даже основой общественной идеологии, оспаривая при этом традиционные притязания богословия.

Исторический материал оказался той наиболее благодатной основой, а историографическое сочинение тем универсально-обобщающим типом произведения, при помощи которых стало возможным объединение разнородных форм идеологии, областей знания, жанров и стилей для комплексного применения их всех к задачам нравственно-политического воспитания национального самосознания народа и человека.

Историографические идеи и представления о «пользе» истории для развития общества, об истории как «учительнице жизни», о происхождении славянских народов из единого «корня», об их древней славе, о победах над Римом и Грецией, об их славной старинной книжности, о великолепии их языка и многие другие последовательно перемещались из одной национальной историографии в другую, но нигде не закреплялись по преимуществу и ни-

когда не свидетельствовали об исключительном воздействии какой-либо одной национальной историографии на другие. Эти идеи осознавались историографами разных стран как их общее достояние, и филиация их, подобно передвижениям литературных сюжетов, обуславливалась вполне конкретными историческими процессами. Усвоение и обработка этих идей в какой-либо национальной историографии начиналась только тогда, когда данная славянская страна вступала на путь общественно-политического, национального и культурного подъема.

Первоначальное восприятие идей и форм историографического творчества при переходе их из одной славянской страны в другую характеризовалось освоением более архаических образцов, хотя в последующем развитии этого творчества нередко усваивающая историография, быстро развиваясь, превосходила более ранние по времени достижения своей предшественницы.

Общие идейные основы историографии приобретали в каждой славянской стране и в каждую отдельную эпоху (в пределах переходного периода) своеобразную национальную интерпретацию. Благодаря этому, повторяя идеи и обрабатывая сочинения своих иноземных или отечественных предшественников, историографы часто были убеждены в своей собственной оригинальности. Они чувствовали себя первооткрывателями родной истории и по отношению к читателям-современникам в большинстве случаев действительно были такими первооткрывателями.

Стремление историографов к резко выраженной национальной ориентации общих историографических понятий и сведений часто вызывало у них необходимость вступать в полемику с теми представителями родственных славянских или соседствующих инациональных историографий, от которых эти понятия и сведения были ими только что восприняты и в которых они бытовали в соответствии иной и не менее самобытной национальной трактовке.

Общие принципы и конкретные приемы работы историографов над историческими материалами находились в прямой — и даже декларативно подчеркиваемой — зависимости от общественно-идеологических тенденций историографии. Историографы сознательно стремились подчинить свои сочинения единой и, по их мнению, пронизывающей всю историю данного народа от самого его «начала» и до «сего часу» национально-патриотической концеп-

ции. Они, как правило, старались сосредоточить свои всеобъемлющие исторические обзоры в пределах единой, достаточно популяризированной и краткой книги, в которой исторические материалы группировались преимущественно по идейно-тематическому принципу, объединялись на основе компилятивно-иллюстративного метода и приемов повествовательного, а нередко и повествовательно-риторического, изложения.

Принципы историографической теории и практики не позволяли историографам заострить свое внимание на необходимости четкого расчленения объективности исторического факта и субъективности его истолкования, отделить исторический источник от историографического — или даже художественно-литературного — сочинения, порозному оценить версию и действительность.

Критическая мысль историографов уже пробудилась, но сосредоточилась она в большей мере на сопоставлении и противопоставлении концепций и «свидетельств», чем источников и реалий. Преимущество достоверности представлялось тем воззрениям, которые основывались не столько на проверенных фактах, сколько на авторитетных и желательных мнениях. Мысль историографов еще только нащупывала пути для построения самостоятельных теорий, но основные свои усилия она направляла в сторону подтверждения и историографического обоснования тех общественно-идеологических концепций, которым каждый историограф стремился следовать по внутреннему призванию или обязан был следовать по своему положению.

Отношение историографов к предшествующей исторической традиции уже прошло стадию средневековой анонимности и общности материалов, но сохраняло еще черты донаучной внешней авторитарности. Заимствуемые мнения или даже прямые цитатные ссылки свободно варьировались историографами при довольно частой опоре на имена предшественников, у которых, однако, эти мнения или цитаты имели несколько иной, а иногда и прямо противоположный смысл.

Исторический подход к оценке достижений и недостатков историографии переходного периода был бы невозможен без учета того обстоятельства, что сами историографы верили в истинность и необходимость своих толкований истории. Обычно они верили своим излюбленным версиям с такой же страстностью, с какой в эпоху средневековья

богословы были убеждены в истинности своих противоречивых толкований «писания».

Критицизм историографов носил не научный, а публицистический характер. Он выражался главным образом в форме открытой или скрытой полемики против нежелательных в каждом данном случае историографических версий, но не подрывал еще идейных основ историографии в целом именно потому, что она осознавалась историографами и их читателями не как специальная и самостоятельная наука, а как определенное проявление национально-общественной идеологии.

Историографы не были беспочвенными фантастами или легкомысленными фальсификаторами. Их фантазия, как и их риторика, теснейшим образом были связаны с идеологическими основами и методами историографии. Историческое «баснословие» призвано было играть в их трудах необходимейшую роль концептуальных и «прагматологических» связей исторического повествования и современности. Многие свойственные историографам представления, любимые их сюжеты или обычные в их трудах приемы работы, казавшиеся всего лишь нелепыми «баснями» или странными «ошибками» историкам нового времени, отражали в действительности весьма важные общественно-политические идеи переходного периода, были закономерны и неизбежны.

Профессиональная этика историографов на первоначальных стадиях своего развития в известной мере сочетала моральные идеалы монаха-летописца (как они представлялись воображению историографов) с решительным стремлением к новому осмыслению своих общественно-национальных правоучительно-политических обязанностей.

На этой основе в историографии начал проявляться живой интерес к самой «должности» историографа. При этом обсуждались не индивидуальные права и обязанности историографа как творческой личности, а, так сказать, его типовые признаки как деятеля и писателя, облеченного высокой общественно-воспитательной миссией и обязанного поэтому подчинять свои взгляды, чувства и даже конкретные приемы своей работы определенному кодексу морально-профессиональных правил.

На этой же идеологической основе в историографии возникал специфический интерес к читателю. Чтение историографических сочинений представлялось не инди-

видуально-произвольным актом каждого читателя, а делом общественно полезным, подразумевающим активную роль читателя как ценителя, пропагандиста, критика, а возможно — и продолжателя труда историографа. Поэтому литературно-риторические и публицистические приемы историографического повествования часто осложнялись элементами автобиографизма со стороны историографов, их разнообразными обращениями к читателям, слушателям и переписчикам их трудов, окрашивались лирическими интонациями. Особо важное значение в этой связи имели программно-декларативные предисловия и послесловия к историографическим книгам.

К какому же общему типу общественно-культурных явлений изучаемого периода и к какому разряду присваиваемых этим явлениям научных определений можно было бы отнести славянскую историографию? Заманчиво было бы, например, следуя моде, объявить ее «барочной» историографией, или историографией славянского «предренессанса», или «предпросвещения». Но на первых этапах сравнительно-типологического изучения славянской историографии нам казалось преждевременным подчинять это изучение каким-либо привычным, хотя далеко и не всегда обоснованным и определенным, дефинициям. Против категоричности подобного рода определений в данном случае предостерегает не только их научная дискуссионность сама по себе, но, в особенности, то реальное своеобразие, которым отличалось развитие общественной мысли, культуры и литературы у восточнославянских и южнославянских народов в XVII—XVIII вв. Не подлежит сомнению, что славянская историография ярко отражала своеобразные тенденции общественного и культурного развития славянских народов в то бурное и во многом противоречивое время, когда Ренессанс в странах Западной Европы уже миновал, а пестрые взгляды и вкусы барокко сменялись философско-нравоучительными идеями эпохи Просвещения. Ускоренный процесс развития восточнославянских, а затем и южнославянских народов приводил, в частности, к такому специфическому явлению, когда в историографии вместо более или менее последовательной смены социально-философских идей, литературных форм, представлений и методов, определявшихся в конечном итоге сменой крупных движений общественной мысли и развитием культуры, происходило их смешение

и столкновение. Наука и религия, история и проповедь, беллетристика и публицистика вступали в очень тесное и порою, с нашей точки зрения, весьма причудливое объединение в трудах историографов. В пределах историографии сосуществовали и боролись представления и приемы, убеждения и вкусы, восходящие то к средневековым летописным или хронографическим традициям, как и к заветам самого «священного писания», то к гуманистическим или просветительским воззрениям. Острый интерес историографов к обновленным гуманистами теоретическим взглядам античных историков сочетался с их восторженным отношением к национально-историческим преданиям. Весь этот конгломерат разнообразных по своему происхождению и значению явлений был прочно связан национально-патриотической концепцией историографов и подчинен стоявшей перед ними задаче морально-политического воспитания общественного сознания формирующихся славянских наций. Эта общая и главнейшая направленность данного течения позволила определить его как течение историографии славянского Возрождения.

Выдающимся представителем этого течения, одним из последних по времени, но крупнейшим по значению, был Паисий Хилендарский — основатель идей болгарского Возрождения. В «Истории славеноболгарской» Паисия с неповторимой оригинальностью сочетались традиции общих историографических представлений с публицистическим пафосом болгарской живой современности.

L'HISTORIOGRAPHIE DE LA RENAISSANCE SLAVE ET PAISSIJ DE CHILENDAR

Étude de typologie historique et littéraire (Résumé)

Dès le XVI-me au XVIII-me siècle les nombreuses œuvres historiques en Pologne, en Tchèque, à l'Ukraine, en Russie, en Bulgarie et en Serbie formaient un des courants littéraires de la Renaissance slave. On peut considérer ce courant comme un courant publiciste.

Considérées comme genre littéraire ces œuvres occupent une place intermédiaire entre les œuvres des annalistes et les chronographies du Moyen Âge et la science historique des temps modernes. Ce courant littéraire et publiciste ne se forma pas simultanément dans tous les pays slaves, car sa formation dépendait des faits sociaux qui entraînaient les peuples slaves un à un sur la voie de la Renaissance nationale. C'est justement ce courant qui marque dans chaque pays slave la transition de l'époque du féodalisme à la formation sociale et économique bourgeoise.

L'historiographie slave acquiert en ce temps un caractère de programme idéologique et commence à prétendre à un rôle fondamental parmi les autres sciences. Elle tâche de devenir base de toute idéologie sociale en disputant les positions traditionnelles de la théologie. Les raisonnements des historiens à propos de «l'utilité pratique de l'histoire», la proclamation de l'histoire comme «préceptrice de la vie», l'intérêt à la question de l'origine commune des peuples slaves, les reminiscences de leur ancienne gloire et de leurs succès dans la lutte contre Rome et Byzance, la haute appréciation de leur ancienne littérature et de la splendeur de leur langue — tout cela se transmettait successivement d'une littérature slave à une autre. En même temps.

on considérait l'historiographie de tous les peuples slaves comme un bien commun.

Ces migrations d'idées peuvent bien trouver une explication historique fondée sur l'analyse concrète de l'évolution des faits sociaux. Les fondements idéologiques de l'historiographie slave de cette époque ont eu tout de même dans chaque pays slave une empreinte nationale car ils étaient interprétés d'une manière différente et c'est pourquoi chaque historien slave apparaissait comme un premier explorateur des antiquités nationales tendant à soumettre son œuvre à une unique conception du patriotisme de son pays. Pour cela on concentrait toute l'histoire d'un peuple depuis ses «origines» dans un seul livre intitulé comme «exposé bref». On visait à atteindre un groupement des faits historiques basé sur un principe purement idéologique en mettant en avant les thèmes qui pouvaient illustrer dans le tissu de la narration compilative les idées préférées. La fantaisie et la rhétorique des historiens sont basées sur la méthode même de l'historiographie.

C'était aussi un code de règles morales et professionnelles qui dirigeait l'activité des historiens et c'est ce code qui était à la base non seulement de leurs vues et opinions, mais aussi de la méthode même des écrivains, de leurs interrelations avec leurs lecteurs, leurs auditeurs et les copistes de leurs œuvres. C'est ici que les déclarations de caractère de programme qui s'adressaient aux lecteurs dans les préfaces et les postfaces des œuvres historiques acquièrent une importance de premier ordre. L'historien comprenait son œuvre comme une haute destination sociale et idéologique ayant pour but l'éducation morale et politique d'un peuple qui se reconnaissait dans son histoire.

L'historiographie slave reflétait l'originalité de l'évolution sociale des peuples slaves et toutes les contradictions de cette époque mouvementée: en Europe occidentale la Renaissance était déjà passée et les goûts variés dits «baroques» se remplaçaient peu à peu par les idées philosophiques et morales du Siècle des Lumières. Le développement accéléré des Slaves Orientaux, et peu après des Slaves Meridionaux produisait dans l'historiographie slave des collisions et des confusions d'idées et de formes littéraires au lieu de leur déroulement conséquent. La science et la théologie, l'analyse historique et le sermon, les belles-lettres et le genre publiciste entraînent dans les

œuvres des historiens de l'époque en combinaisons qui doivent nous paraître bizarres.

La manière de voir les choses propre aux annalistes médiévaux et les traditions de l'Écriture Sainte coexistaient et entraient en lutte avec l'esprit du temps de l'Humanisme.

Un des auteurs remarquables de ce courant littéraire et publiciste était Païssij de Chilendar, le fondateur de la Renaissance bulgare. Son «Histoire slavo-bulgare» était une œuvre où les traditions de l'historiographie précédente et le vif patriotisme bulgare de son temps se combinaient et s'entrelaçaient. L'étude de cette œuvre était jusqu'à présent bornée ou par l'analyse de son rôle dans l'histoire de la littérature bulgare ou par la comparaison de quelques idées de l'auteur avec quelques idées du Siècle des Lumières en France et en Allemagne. Mais cette œuvre n'a pas encore été l'objet d'une étude détaillée qui aurait pris en considération les liens étroits de Païssij avec toute l'historiographie slave, en particulier avec l'historiographie russe et ukrainienne. Cette étude historique et typologique nous a permis de définir la place de Païssij dans l'histoire de la littérature des peuples slaves ce qui expliquerait les origines, la type et la structure de son œuvre.

La présente étude se divise en quatre chapitres consacrés aux problèmes qui étaient mis en avant par les auteurs mêmes de l'époque. Ces problèmes sont: 1. «L'historien et la société»; 2. «L'historien et son lecteur»; 3. «L'historien et l'historiographie»; 4. «L'historien et l'histoire».

О Г Л А В Л Е Н И Е

Введение	3
Историограф и общество	19
Историограф и читатель	37
Историограф и историография	53
Историограф и история	84
Заключение	133
Résumé	140

Андрей Николаевич Робинсон

**История славянского Возрождения
и Паисий Хилендарский**

V Международный съезд славистов

*Утверждено к печати
Отделением литературы и языка
Академии наук СССР
Советским комитетом славистов*

Технический редактор Л. А. Сушкова

Сдано в набор 28/III 1963 г.

Подписано к печати 15/V 1963 г. Формат 84×108^{1/2}.

Печ. л. 4,5(9)=7,58 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 7,7

Тираж 1200 экз. Т-06927. Изд. № 1864. Тип. зак. № 2048

Бесплатно

Издательство Академии наук СССР.
Москва, К-62, Подсосенский пер., 21

2-я типография Издательства АН СССР,
Москва, Г-99, Шубинский пер., 10

70

Бесплатно